Глеб Нагорный

Длинные ноги Кафки

Сборник произведений

Глеб Нагорный

Длинные ноги Кафки. Сборник произведений

«Издательские решения»

Нагорный Г.

Длинные ноги Кафки. Сборник произведений / Г. Нагорный — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-906015-0

Роман-файл «Флёр»«Авторский слог — второй главный герой после титульного персонажа. Нагорный экспериментирует со словами с лёгкостью и азартом Теслы в лаборатории».Алексей Филиппов, «Литературная Россия»Пьеса «Лайф-Лайф»«Без колебаний называю „Лайф-Лайф“ одной из лучших русских пьес начала XXI века…»Алексей Битов, театральный критик«Глеб Нагорный — человек, который превосходно умеет складывать слова во фразы и обладает адекватным чувством стиля».Евгений Ю. Додолев, «Московская правда»

ISBN 978-5-44-906015-0

© Нагорный Г.
© Издательские решения

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ 6
Кубик «Флёра» 6
Smash the Pumpkin! [Убей олигарха] 9
Канкан во время чумы 12
LIFE-LIFE, или новый взгляд на современное общество 15
Тольятти. 17
Лайф – это не Жизнь 19
Life, зачем ты нам дана? Ставропольский академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова 22
Театральный аргумент 24
Московское метро по-литовски 26
ФЛЁР 28
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 29
Ализариновые чернила 29
«Серебряная» нить 35
Кутюрный цех 41
Мадам Фактура 48
Отдел отобразительных искусств 53
Погасшее Окно 61
Кабаре «Граммофон» 71
Амадей Папильот 80
Шарманка с вертепом 92
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 104
Магистр Эвтаназ 104
Творитель и Миротворец 112
Мессиан 123
Пластмассовый Герцог 132
Конец ознакомительного фрагмента. 140

Длинные ноги Кафки
Сборник произведений

Глеб Нагорный

© Глеб Нагорный, 2018

ISBN 978-5-4490-6015-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРЕДИСЛОВИЕ

Кубик «Флёра»

Энергоёмкость романа «Флёр» Глеба Нагорного – поистине колоссальная, даже если не облекать всё в цельный структурированный *смыслонагруженный* продукт, а книга ещё обладает и калейдоскопическим смыслом. Впрочем, всё по порядку.

Когда роман впервые попал мне в руки, я открыл начало, с полминуты почитал, досадливо выругался и отложил книгу – лучше уж погрузиться в чтение с утреца на трезвую голову. Пресловутое *утрецо на трезвую голову* наступило не скоро. Книга мерцала на полке и манила меня чарующей неизбежностью. Контора, в свое время застраховавшая выпуклости Дженнифер Лопес на миллион зелёных, отчего-то наотрез отказалась страховать мой мозг даже на двести рублей. Что ж, терять нечего, я заварил чай с малинкой, уютно укрылся пледом, положил на живот воображаемого котенка и открыл роман. И потерялся…

Съешь синюю таблетку — попадёшь в Матрицу, съешь красную — коня с ладьёй потеряешь, прямо пойдёшь — голову потеряешь. В любом случае, как прежде – не будет. С порога Глеб Нагорный берёт читателя за руку и сразу же, прямо как тот усатый кролик, на июньском рассвете без объявления войны вероломно швыряет нас в зазеркальную нору. И только успеваешь упасть в земляничную поляну, отряхнуться и начать осматриваться, автор с *дебочеширской* улыбкой тает в воздухе. И перед тобой – вход в огромный фантасмагорический Лабиринт, и у входа кокетливая табличка – «Осторожно, злые минотавры». Тут замечаешь, что у тебя из живота тянется тонкая *серебряная нить* и уходит прямо вглубь Лабиринта. И кто-то слегка дергает нить *с той стороны*, приглашая в Путь, или даже *welcomes you to the Trip.*

Первое, что встречаешь внутри Лабиринта, – курилка на заднем дворе. Яростно чиркая спичками, крепыш Замятин нервно пытается прикурить худосочному Оруэллу. Недалекий Герасим не являлся апологетом *анти-утопии*, поэтому Муму невольно разделила судьбу Ди Каприо в холодных атлантических водах. Но это – не наш коленкор. Какая же вкусная тут разворачивается антиутопия! Эволюция, следующая ступень на пресловутой *цеппелиновской* лестнице. Тоталитарный балаган. Авторитарный вертеп. Фашистский Лас-Вегас. Булгаков истово и с жаром крестится. Льюис Кэрролл перешёл на Тёмную Сторону.

Сон, смешной и страшный. Сумасшедший и смешной сон, но такой страшный, что сон на улице Вязов – просто пасторальная прогулка по воде. Мир, где царит жёсткая и беспощадная Система, но нет НИ ОДНОГО персонажа, который не злоупотреблял бы своим статусом-кво и не проявлял бы акты воли в своё удовольствие. Эдакая иллюзия полной свободы. А чем же иллюзия свободы отличается от собственно свободы? Ответ прост – тем, что это *иллюзия*, и ничего больше. И эта тонкая грань – личный выбор каждого читателя. У персонажей же выбора нет. На этом различия заканчиваются. Но об этом позже. А пока что серебряная нить ведёт нас дальше в глубь Лабиринта.

Верховное руководство в Здании вроде бы есть, но его *никто* и *никогда* не видел. Рабгребец даже не подозревает, кто же на самом деле капитан галеры. Система функционирует *как бы* сама по себе. Всё ровно и чётко, у каждого – своя функция, и каждый, что удивительно, – предельно индивидуален и ярок. Никаких тут тебе серых масс, никаких невзрачных флегматиков, за этим – пощёлкай пультом и воздастся, а тут – променад-хоровод личностей, настоящих Личностей. И даже самый завалящий третьеплановый персонаж невероятно колоритен и самобытен. У каждого – своя правда, плюрализм зашкаливает, гласность – на зависть. Но крепка берлинская стена между полушариями мозга. *Рациональная* половинка куклово-

дит, но при этом водит читателей на ниточках по *иррациональной* стороне. Да, именно так. И в Лабиринт уходит нить…

Каждый персонаж философствует, причём доходчиво, дико и умно. Мы развешиваем ушки и млеем, наслаждаясь этими *Оргазмами Роттердамскими*, и тут из табакерки вдруг выскакивает новый персонаж и с полтычка задвигает свою модель апперцепции, абсолютно опровергая «предыдущих тостующих». Мы беспомощно озираемся на развилках Лабиринта, а откуда-то сверху автор смеётся сардоническим *гегелевским* смехом, и нить ведёт нас дальше, сквозь флёр иллюзий и сюжетных ложноножек. Кстати, Флёр – это имя главного героя. Он честен, искренен, наивен и, по-своему, благороден. Эдакая *птица цвета гардемарин*. Его мытарства сквозь бюрократическую машину пугают, завораживают, смешат и заставляют нас включить *сирое* вещество. Бюрократия в мирах Нагорного – это отдельная песня, в тональности *ты-мажор*. По сравнению со здешними бюрократами, кафкианские судьи – просто сомалийские пограничники: открытка с президентом Франклином заменяет все документы и накладные. Уж казалось бы – куда можно зайти дальше Кафки и Советского Застоя в плане крючкотворства? Ан нет – на первых же страницах Флёра отправляют в командировку во внешний мир, и…

Я не хочу раскрывать карты и кайфоломить ещё не читавшим, просто приведу для сравнения – на пятой странице другой легендарной книги, одного юного гасконца папаня отправляет в Париж. Куда герой и добирается через полторы главы, попутно сражаясь с канальями. Здесь же – совсем другая песня. В тональности *де-магог*. У Флёра на пути иная femme fatale – *Инстанция Бонасье*. И конца-края не видать, а Лабиринт всё подмигивает и сыпет подсказками на каждом шагу. Ребусы ждут на каждом шагу, и автору решительно плевать, отгадаешь ты их все или только часть. Это – шизоидный клондайк для Друзя и его *друзей*-эрудитов. Сколько бы самородков ни откопал – ещё больше останется для других, авось, найдут. Копайте глубже, ребятки, хватит на всех.

Код Да Винчи – для пэтэушников. За первым планом начинает проступать второй фон, а за ним и третий, как в играх приставки Нинтендо. В вымышленном мире вдруг на третьем фоне находишь Маркса-Ленина-Сталина, флаг некоей прибалтийской республики, Христа на груди и ещё сотни реликтов, которые привносят непередаваемый привкус, привкус телемоста между балаганным вымышленным миром и нашей сермяжной реальностью, только вместо Познера и Донахью телемост ведём *мы сами*. Крепость и прочность моста зависят от каждого – кто сколько самородков найдёт для кладки и опор. Вообще, проблем в романе заложено очень много, больше, чем я знаю, и больше, чем могу рассказать. Но одна из главных тем – место человека в обществе и их взаимодействие. На примере героев, можно тихо приспособиться и пассивно паразитировать, можно абстрагироваться и играть в свои игры, можно быть молодцом среди овец и спиваться от безнадёги и отсутствия реальных перспектив, можно рыть землю в усердии во имя незнамо чего, можно плыть по течению, можно приумножать блага, не забывая при этом *бонвианствовать*, можно просто искать, можно *не просто* искать… Правильного ответа не даётся, да и нет его, болезного. Было бы в жизни всё так просто, как бином Ньютона…

И над всем этим разноцветным Лабиринтом тройным заморским баклажанным слоем намазан Слог. Авторский слог – второй главный герой после титульного персонажа. Нагорный экспериментирует со словами с лёгкостью и азартом Теслы в лаборатории. *Мерклодуши, ланфрен-вольфрам, тазобедрие, пустмодернизм, бильярдношарые, сверхзадачливо…* сотни и сотни новорождённых слов агукают и улыбаются, потому что знают, что пришлись ко двору. Здесь бихевиористский эскапизм автора сквозь граненую призму *вялотекучего* модулятора как нельзя более на руку. Иные душат кириллицу в руках, а автор душит воздушного змея в небе, упиваясь свежим ветром и отсутствием границ в вышине, благо, крыши нет. Если сказать проще, то знаменитый пятиэтажный слог Джойса – это «*мама мыла раму*». Слова и пред-

ложения здесь бесстыдно и красиво скрещиваются друг с другом, обнажая свою суть и вгоняя читателей в ализариновую краску. *Творец, творитель, творяка* – это три разных слова и три разных значения в книге. Ох, не завидую я тем энциклопедистам, которые будут переводить «Флёр» на иностранные языки. Уж слишком много русского в книге! И я сейчас не о том, что почти все герои в какой-то момент оказываются в алкогольно-наркотическом угаре, речь о многомерной глубине *zagadochnoy russkoy dushi*, которая тут прёт из всех междустрочий и *межножий* образов.

В итоге мы оказываемся в центральном зале Лабиринта. Куда же привела нас серебряная нить? Где Ариадна, которую нужно спасти? Где же драконы и минотавры, с которыми нужно сразиться? Всё куда интереснее – в самом центре Лабиринта нить из живота приводит к зеркалу. Да, к зеркалу. Вот с кем нужно сразиться, вот кого нужно спасти! Как в мемуарах Герцога (другого персонажа романа), каждый вдруг видит *свою* историю. И всё становится на свои места. Осталось лишь сделать *Самый Главный Шаг*. Шаг вперёд. Сквозь это зеркало, чтобы вернуться из зазеркального путешествия в реальный мир. Ну, не факт, что реальный, лучше сказать – в привычный. И осознать себя командировочным-из-Лабиринта.

Мне кажется, я разгадал Кубик «Флёра», все три его грани. Или постойте… а сколько вообще граней у куба? А это – *с какой стороны* посмотреть…

Алексей ФИЛИППОВ
«Литературная Россия»,
№48 (2633), 29 ноября 2013 г.;
«Топос», 7 февраля 2013 г.;
«ОРЛИТА», 6 февраля 2013 г.

Smash the Pumpkin! [Убей олигарха]

Тему олигархата искусство не то, чтоб обходит, но не воспринимает всерьёз. Да, в премиальных «шортах» прогуливалось немало произведений о сладкой жизни. И, конечно, как тут не вспомнить С. Минаева – который, как это ни смешно ему самому, но выступил на ТВ с морализаторским комментарием по поводу юнца, предлагающего прохожим выпить в Парке Горького собственной мочи. Тут напрашивается сарказм: автор повести о ненастоящем человеке, черпавший документальные эпизоды из собственного, понятно, опыта – ужасается воплощению своих же текстовых достижений. Нет, мол, ТАК мы в школьные годы (хохо!) не хулиганили… Позоришко и авторское самоубийство, между прочим – ну, да прикремлённому телеведущему всё простительно.

Выходит, чтобы написать об олигархе – надо либо самому быть олигархом, либо хоть средним буржуа, как Минаев с его винноупаковочным заводиком (если это не его же миф). Вот тут-то мы и приближаемся к истине: большое видится на расстоянии, но не на расстоянии классовой ненависти (тут, признаю, я бы не смог бытописать, хотя и захаживал). Тут нужно этакое инсайдерство – побывать транзитом, а потом и вдарить из всех орудий. Как Максим Кантор, уделяющий особое внимание античным архитектурным особенностям домов нуворишей как в «В ту сторону», так и в «Красном свете», как Оксана Робски и ряд возлюбленных либерал-премиаторами литераторов с Рублёвки.

В нашем случае – попадание (в покои) стопроцентное. Автор – юрист, и с этим классом имеет контакты профессиональные. Иначе просто таких подробностей интерьера мы не заметили бы. Ведь и в том, что окружает олигархов – история страны, философия быта. И подобная пьеса (хотя, пьеса-то – переделанный роман о Романе Андреевиче, банальный каламбур, а приятный) напрашивалась, наболела, так сказать. Если постмодернисты с либеральной подкладочкой обстёбывали в конце восьмидесятых и начале девяностых советского человека – то кто запрещает сделать то же самое с человеком, который родился из отрицания социального равенства? Олигарх – не как частный случай набора каких-то там черт, – а именно как итог развития «тысячелетней Руси», как детище реформ и многих общественных усилий. Вот он – герой нашего времени, которого безуспешно искали новреалисты, и сейчас иногда вспоминают о тех поисках… Если вдруг Санькя Тишин или Сергей Уражцев, претендовавшие на лавры Кибальчиша 21-го века, оказываются в услужении у Кремля (потому что Кремль, как заявил Прилепин, встал на его позицию), то кому же оставаться на фоне этой дешёвенькой и душевно обнищавшей подтанцовки героем? Конечно же, тому, кто равен Самому (в лучах славы коего пригрелись обрюзгшие вчерашние баррикадники)…

Тут нужно пояснение: почему олигарх. Это не просто желание подсматривать за роскошью (хотя и она походя изображена с должной иронией и искусностью). Это именно что достоевское желание заглянуть не в замочную скважину виллы, а сразу в душу. Что там водится? Ради чего СССР погиб, прославляя личность и ещё раз личность. Во чью славу, причём отчаянно абстрактно, пели реформаторы свои гимны о том, как справедливо заживут вчерашние совки при капитализме? Ведь там лейтмотивом-то шло нечто настолько прозрачное, что теперь и стыдно как-то признаваться: да, будущие олигархи славили самих себя, но пока что как абстрактные, не занятые ещё местечки в новом обществе. Как ваучерный автор-исполнитель Чубайс: сам придумал методику, сам разбогател. Мол, как только вырастет его величество Собственник, так всё и встанет на полагающиеся места. Зачем какие-то многолюдные институты, министерства, комиссии эти совковые, что за бюрократизация общества ненужная? Дайте Собственнику нажраться и он прокормит страну! Зачем бюджетирование, субсидии и прочее перераспределение социалистических накоплений, когда – построил церковь да и стал меценатом?

Кто богат, тот и делится. Институт меценатства, традиции купеческой Руси – они, конечно, куда мудрее большевистских вымыслов плановой экономики!

Я не приукрашиваю (приукрашенное читайте в пьесе товарища Нагорного) – так это всё и звучало на митингах демшизы. Долой контроль бюрократии! То есть общественный контроль – вскоре лозунг сменился формулой «не смотри в чужой карман, джентльмены так не делают» (это мне лично посоветовал Дмитрий Киселёв на передачке своей «Национальный интерес»). По рукам дать черни можно, но вот взгляд – не отвести! Так вот национальный интерес-то устремлён упрямо именно туда – внутрь личности того самого Собственника, ради которого расформировали СССР, распродали социалистическую собственность на части, укрупнив именно этот финансовый институт Личности. Удался ли либеральный эксперимент – велик ли этот новый русский человек?

А человек этот, с наименьшей из букв, в «Русском Хэллоуине» – в состоянии перманентного похмелья. Он, Андреевич (фамилия подразумевается, в отличие от каких-то загадочных Кряжистых – всё-то прихрамывают современнички, всей классовой правды не осиливают груз), грустит, и от грусти своей просит, например, лакея двинуть в своё олигархическое рыло (цитата). Представляет историческую расплату. В сущности, все действия в лондонской хмари происходят от этой высокой болезни, от скуки. Видно, что развлечь себя олигархату всё сложнее – идея неоригинальная в свете, скажем, английского, гринуэевского же «Повара, вора, его жены…», но для РФ всё же свежая. Ирония, выстраданная и нажитая, а вовсе не сиюминутная – пронизывает каждую реплику или ремарку пьесы, которую сам Глеб Нагорный определил как роман-перформанс.

И в этом, пожалуй, есть смысл. Ну, кто это прочёл бы? Книга – это ещё не действо. Конечно, сильный текст тянет экранизировать, поставить, обыграть… Но такой – с такой претензией и такой стартовой скандальностью? Тут явно Серебренников и Капков не сдюжили бы: если знать предысторию «цензурных» отношений последнего и Нагорного. Буквально дня за три до отставки Капкова, Нагорный огласил просторы фейсбука очередным проклятием в адрес либерал-чинуши… Тут поверишь в колядки-прятки и всякое такое магическое – этот Хэллоуин точно удался. Капков как должностное лицо «сдох» – но ведь надо догадываться, сколько было таких «непоставленных» авторов, которые злобно выдохнули после его отставки.

А Капков, как мы знаем, был плотью от плоти Абрамовича – вот уж воистину поверишь в десакрализацию и всякое такое. Написать весело, искренне высмеять – и зашатались тверди. И почему никто до сих пор не брался за эту «глыбу», которая по силе оказалась только Глебу?.. Всё нас шариковыми пугали – ну и кого в ответ вырастили на горбу трудового народа?

Мне вот крайне любопытно, классово близкая главному герою перформанса «Практика» – не поставит ли? Вещица так и блещет как раз всеми постмодернистскими достоинствами (стёбными), но приложенными к объекту, который был табу для российского постмодернизма. Нет, конечно же и Пелевин и всё его литпоколение не могли не заметить сей класс и тоже как-то лениво шутили в ту сторону – но не было в тех шутках обличающей силы подлинной иронии, а не дежурного девяносикового стёба.

Перформанс, украденный у придворных шутов этого самого класса (правящего, хоть он и в Англии) – работает не просто на сиюминутное ха-ха совокупного пролетария (коего, катарсического смеха, там даже с излишком), а на дальнейшие размышления. Это сколько же надо было миллионов «дорогих россиян» убедить в том, что выводить этого гомункула надо бережно, пятилетками! Что нельзя ему мешать воровать – так как это святая святых, первоначальное накопление!.. Ну и? Накормили они вас, дорогие россияне? До сих пор ремешки затягиваете? А помните себя в нулевых, когда этот самый-самый любимый президентом олигарх тут красовался? Демонстрировал политическую чуткость, отходя от Березовского и «помогая» футболу не только аглицкому… Осоловелый народ и глядел в пробирку: у него самого и деревни мрут, и соседи, а у этих… Ну, хоть кому-то хорошо! Вот это-то всё и перенесено

на сцену – причём с такими подробностями, что, конечно, не переселяются из текста в декорации автоматически. Тут – роман в первую очередь, лишь пересказанный перформансом…

Кстати, Глеб Нагорный с этим своим ноу-хау победил в Международном конкурсе современной драматургии «Время драмы. Зима 2014» на пару с Александром Чугуновым. Вот так не спас флёр огромных денег олигарха от судьбы стать современным героем-посмешищем. Эта фигура умолчания, этот национальный позор (ведь и смешная манера говорить не «капиталисты», а именно «девяностые» – как будто это годы решают судьбы, а не люди), и многое стыдливое здесь выдаёт запущенный общественный невроз на грани немоты… И пора как-то просмеять то, что было прежде «проплачено»…

Финал перформанса в двух действиях – то есть второе действие, стремится ко гробам в самом прямом смысле. На сцене гробы. Короткая и гиблая ветвь человечества, предчувствуя свою гибель как возрождённого класса – привыкает к гробам, обсуждает модификации гробов, в общем обыгрывает эту тему. И становится ясно: то, во что так заботливо Россия Постсоветская инвестировала миллиарды, отдавая их на самотёк, обернулось обречённостью. Обернулось олигархом-беженцем, который в ностальгии по московской погоде и искренне переживает за английскую королеву, которую могут свергнуть шотландские «сепары».

Ум, честь и совесть Постэпохи спешит поскорее исчезнуть с исторической сцены – не под силу ему волочь общество, ему бы как-то всё в свою сурдинку-волынку дулось… Какие там функции Госплана ему выполнять – зачем?

Дмитрий ЧЁРНЫЙ
«Литературная Россия»,
№18 (2701), 22 мая 2015 г.

Канкан во время чумы

Не каждый день получается соприкоснуться с искусством. Я помню три самых ярких случая из моего личного опыта. Много лет назад, в Ялте, в разгар кинофестиваля, я прикоснулся к Жерару Депардьё. Сфотографировался с ним в обнимку. Ещё вспоминаю «Хард Рок Кафе» в Риме. Там под потолком висела гитара Джона Леннона. Тот самый знаменитый «Рикенбакер» 1964-го года. Конечно же, я улучил момент, подскочил со стулом, встал на него, потянулся и нежно стал водить пальцами по струнам… Меня попросили покинуть заведение, и я ушёл, не допив кальвадос, но цель была достигнута – я соприкоснулся с искусством.

А про третий случай мне хочется рассказать подробнее.

Однажды, одной тёмной февральской ночечкой, в предрассветный час, Глеб Нагорный прислал мне свою новую пьесу – «Красную мельницу». Я сразу насторожился, почему в неурочное время… То ли ему не спалось попросту, то ли по ночам ФАКИН меньше бдит. (ФАКИН – это, видимо, Федеральное Агентство по Контролю над ИНтернетом.) Я знаю непростые отношения Нагорного с Генеральной Линией. Например, неведомые силы неоднократно рушили его сайт. Когда я хочу узнать, как дела у Глеба, я просто захожу на его сайт… и, если там опять первобытная темнота – значит, Нагорный в очередной раз что-то не то сказал или подумал.

Поэтому, получив потенциальную крамолу, я на всякий случай принял все меры предосторожности – задвинул засовы, спустился в погреб с рукописью, сел на приступку, запалил лучину, приложился к фляжке, ловко выхватил двумя пальцами из трёхлитровой банки огурец, звонко откусил и погрузился в чтение.

Теперь по существу. Получилась такая макабрическая антиутопическая буффонада.

Думаю, ещё пару таких вещей – и можно смело записывать Нагорного в родоначальники этого жанра.

При всей визуальной дурашливой мракобесности, фабула пьесы стройна и пряма, что твоя стрелка на чулках, все персонажи на своём месте, сюжет неспешно, но уверенно движется вперёд.

Что первое остаётся в послевкусии? Пожалуй, атмосфера. Атмосфера. Будни дешёвого кабаре в занюханном городишке – как точно, как сочно! И при этом ткань реальности всё же условна, очень условна. И до дрожи напоминает опять же Францию столетней давности, с её ярким блестящим антуражем, наспех напяленным поверх обшарпанных сумасшедших будней в наркотическом полубреду. Только вместо абсента тут – спиртяга и растворитель для красок, вместо Монмартра – Колхозная улица, вместо Гастоновской Мануфактуры – шерстомойная фабрика… Что это? Я до сих пор не уверен, что эта специализация существует в природе. Ага, «Ворд» не подчёркивает красненьким, значит, и правда есть, надо же… Век живи – век учись!

Да и несущественно это тут, подразумевалась просто обычная типовая фабричная работа, работа, подобную которой выполняют миллионы людей, каждый маленький день. Конечно, реальность пьесы напоминает не только Францию времён Макгрегора и Кидман, но я не буду об этом… Пусть люди из ФАКИНа отрабатывают свой хлеб, а мы тут об искусстве, знаете ли, рассуждаем, под круассаны да с пельмешками-с… Да и политика, в общем-то, ни при чём. (Хотя, когда это у нас в стране политика была ни при чём?)

В безотрадные будни деятельниц культуры врывается свежий ветер. Как говорят в народе, свежий ветер – хорошо забытый несвежий. По сути – рейдерство, самое обычное рейдерство, которое может маскироваться подо что угодно, хоть под меценатство, хоть под руководящие органы, хоть под внеплановую реструктуризацию.

А в данном случае – всё вышеперечисленное и кое-что ещё.

Представитель выписан точно, даже гротеск только подчёркивает все характерные черты – невежество, лицемерие, жёсткая деловая хватка… А уж одно имя персонажа чего

стоит – Альфред Германович, судя по всему – чистокровный якут, не устаёшь восхищаться политкорректностью автора!

Над многими репликами Представителя смеялся от души, гоголевским смехом: «… Эйфель большой, Лувр длинный, я мимо проходил, кварталы есть разные, но это так… я по долгу службы, чтоб детальней ознакомиться…»

Но ещё я призадумался. На его месте я бы, наверное, Париж точно так же изучил… Или нет… В Лувр бы ещё всё-таки зашёл… но всё равно есть над чем подумать. Сладка каша Мономаха, чего уж греха таить.

Много пластов в пьесе, много. Лично для себя я вывел, что главная из тем – всё же не социальная, не политическая, не криминальная, а женская. Да-да, Женская Тема.

Девочки-танцовщицы тут все разные, каждая со своим характером, со своими тараканами, и их диалоги и споры о женской доле как раз самые сильные. Даже странно, как автор-мужчина мог что-то вот такое взять и ухватить.

Вспоминается фильм «Лучше не бывает», где поклонница спрашивает у писателя Джека Николсона: «Как вам удалось в ваших книгах так глубоко забраться в душу женщины, так понять всё, что внутри?» А Джек мрачно ответил: «Очень просто, я всего лишь взял разум мужчины и убрал из него логику и смысл».

Не знаю, действовал ли Нагорный так или по-другому, но у него получилось.

У меня во время прочтения возникло неловкое ощущение, что невольно подслушиваешь разговор в гримёрке реальных танцовщиц… И вроде как надо кашлянуть из деликатности, и не хочется, ибо интересно, что же там ещё скажут. Как в транспорте порой слышу девичьи разговоры, оторваться не могу, знаю, что неправильно, но… Получается как бы живой репортаж с другой стороны баррикад.

Магда, кстати, вызывает сочувствие. Я – не женщина, но понять её могу. Вроде и любишь человека, но нужен нормальный адекватный человек, а все эти неземные, оторванные, опьянённые радугой, сумасшедшие люди или борцы блаженные – это хорошо, и пускай они существуют и цветут, и, дай Бог, у них всё получится, только пусть это будет не рядом со мной. Человек, который рядом с тобой по жизни, – он должен быть именно РЯДОМ – в сердце, в душЕ, в дУше, в спальне, в гостиной, на кухне, в кругу общих друзей… в общем, на расстоянии дыхания, а не в запредельных сферах.

Да и стыдно становится от такой вот собственной позиции, но и отказываться от неё не хочется, ибо боязно.

Но если наступает Момент Истины (а такое иногда бывает) и возникает строгая дилемма МЫ или ОНИ, то поступаешь как по совести, а не как комфортнее. И это не может не радовать, и в пьесе это раскрыто.

А пока Момента Истины нет, можно и дальше спокойно прикрываться самодемагогией – «мол, как наступит момент, там и посмотрим, а пока что меня все устраивает, хата моя с краю».

Очень серьёзная тема, в общем, затронута. Вывод. Пьеса удалась. Имеет смысл сходить на неё.

Девочки-героини вообще симпатичны. Живые, естественные, простые, как соседки по лестнице. Со своими судьбами и драмами. Вообще, девочек обижать нельзя, а уж тем более так цинично. Кем бы обидчик ни был… Есть такое старое правило – подлеца нужно бить всегда. Независимо от того насколько он сильнее, круче или могущественнее тебя… Если этого правила не соблюдать, то и жить как-то противно… Зато комфортно. Тут уж каждый решает для себя. Пьеса и призывает подумать над этими этическими дилеммами.

Ну и помимо этого – просто посмеяться над диалогами и прогуляться по полубредовому миру закулисья Страны Чудес. Четыре сольдо – и билет в цирк в кармане, Карабас уже потирает ручищи, Карло начал крутить шарманку, куклы уже готовы задирать свои целлюлитные ножки. А что ещё надо? Подумать о чём-нибудь серьёзном и проблемном, да, мои маленькие махровые

интеллигентики в беретиках а-ля Че Гевара? Ну что же, будет вам и это! Кому женские ножки, кому – мыслишки. Каждому – своё, хватит на всех. Что ещё могу добавить?

Неожиданно в конце был хэппи-энд. Скажу честно, не ожидал! Видно, автор решил-таки меня побаловать, я когда-то просил его о чём-то подобном. Если бы закончилось всё мрачно, это был бы тогда обычный художественный злой памфлет, а так вышло очень даже вкусненько и с солнышком, озаряющим в рассветный час окровавленные лопасти Старой Мельницы… Всё в ней перемелется, только любовь – никогда…

И всё же хэппи-энд от Нагорного немножко попахивает грибоедовщиной. «Карету мне, карету!» Мы не победим Систему, мы уйдём из Зоопарка.

Пожелаем же автору новых пьес, новых тем, новых идей. Пусть и дальше не даёт нам расслабиться в наших комфортных коконах.

Хочется ещё процитировать песню незабвенного Джона Леннона.

Меня уже тошнит от услышанных вещей
От медоточивых, близоруких лицемеров,
Всё что я хочу – немного правды.
Меня тошнит от прочитанных вещей,
От невротичных свиноголовых политиков,
От маленьких толстогубых шовинистиков,
Дайте мне лишь немного правды.

Это я к чему? Тоже ещё тот Дон Кихот был… как и наш Глеб, тоже высокий и тощий, тоже бросался на мельницы… Это, видно, так и должно быть. Пока они крутят свои багровые лопасти в лучах рассвета, всегда найдутся прекраснодушные донкихоты. Всегда.

И мне нравится соприкасаться с искусством, с таким искусством. Кто знает, возможно, я однажды разбогатею и куплю дом на Лазурном Берегу, по соседству с Депардьё, и мы будем каждое утро боксировать, ну, для здоровья и тонуса… И куплю у вероломных римлян гитару Джона Леннона, и повешу её над кроватью, и буду иногда играть на ней песни на стихи Есенина… И буду и дальше читать новые произведения Глеба Нагорного, где-то восхищаться, где-то спорить, где-то просто смеяться от души…

И тогда мой Внутренний Фрейд совершенно успокоится и блаженно закурит трубочку – соприкосновения с искусством будут зашкаливать, мы с искусством будем неразлучны, как корабли «Союз» и «Аполлон» посреди звёздной бесконечности.

Сильные и серьёзные произведения нужны нам. Нам, людям. Можно сколь угодно иронизировать над плачевным состоянием современной культуры, но оно не может не тревожить каждого мыслящего человека. И я приветствую, когда появляются достойные произведения. Многие вещи мы разучились замечать, разучились наблюдать, разучились чувствовать.

И «Красная мельница» – одна из культурных шпаргалок, чтобы мы что-то вспомнили.

Алексей ФИЛИППОВ
«Литературная Россия»,
№20 (2558), 18 мая 2012 г.

LIFE-LIFE, или новый взгляд на современное общество

14 сентября Молодёжный драматический театр (МДТ) Тольятти открыл свой юбилейный 20-й творческий сезон премьерой спектакля «Life-Life» по пьесе современного российского прозаика и драматурга Глеба Нагорного в постановке тольяттинского режиссёра Владимира Хрущёва.

После спектакля, который прошёл при полном аншлаге, городские и областные деятели культуры торжественно поздравили коллектив театра с юбилеем. Так МДТ открыл свой юбилейный 20-й творческий сезон.

По словам директора театра МДТ Владимира Коренного, это современный спектакль. «В пьесе всё отвечает сегодняшнему дню, тому, что происходит у нас в стране. И неважно отрицательные или положительные эмоции уносит с собой зритель, людям надо показывать, что так жить нельзя».

Режиссёр Хрущёв всегда отличался особым неконъюнктурным взглядом. Все его постановки отвечают сегодняшнему дню, он никогда не подыгрывает зрителю, а открывает новый светлый пласт, на который интересно смотреть.

Несмотря на кажущуюся злободневность сюжета, в спектакле практически отсутствует модная ныне политическая подоплёка. Показаны определённые обстоятельства, в которых максимально раскрываются люди. Как отметил сам Владимир Хрущёв: «У театра нет задачи реагировать на политическую жизнь. Театр, прежде всего, исследует человека в его многообразии. И мне интересен сам человек». Собственно, поэтому для своих постановок режиссёр старается подбирать темы, не теряющие актуальности и через годы.

Поскольку пьеса «Life-Life» современная и тема незаезженная, она стоит отдельного внимания. Действие пьесы происходит в вагоне московского метро. На линии произошла авария, и совершенно разные люди по воле случая оказались на пару часов вместе. Своеобразный срез современного общества: бизнесмен и гастарбайтер, интеллигент и вор, успешная леди и бомж, гламурная девица и пенсионер, милиционер в штатском и обычные люди. Только что они были просто пассажиры. Внешне чуть разные, но в целом мало отличающиеся друг от друга люди. И вот нестандартная ситуация. Она и помогает раскрыть каждого человека, кто он есть на самом деле.

Авария – нежеланный и неожиданный сбой в привычном жизненном укладе. Что делать? В начале некоторые пытаются извлекать из ситуации личную выгоду. Например, так поступает агент-распространитель, раздавая визитки и скидки на новые курсы-тренинги «Лайф-Лайф», якобы обучающие людей правильно жить и позитивно смотреть на мир. Но что толку от этих курсов, если поезд продолжает стоять и проблема не решается? В результате люди всё больше нервничают, ситуация накаляется и дело доходит до драки. Немного успокоившись, пассажиры обнаруживают в вагоне труп убитого мужчины-пенсионера, ехавшего с ними. И вот уже, как в игре в «Мафию», все озабочены другим вопросом – кто убийца? И снова эмоции, снова провокации, снова драка и поиск крайнего. И вскоре опять: «Почему стоим?» В конце концов наступает стрессовое успокоение и люди перестают удивляться происходящему. Поезд стоит, в вагоне труп, но ведь и в такой ситуации нужно как-то жить дальше и что-то делать. Люди есть люди. Одни начинают растаскивать личные вещи убитого, кто-то играет в кроссворд, другие просто решили перекусить. А есть и такие, кто, глядя на происходящее, задумывается о смысле жизни, о своей нелёгкой судьбе, о родине и всём человечестве.

В ходе разговоров звучит вполне здравая мысль, что каждый человек – это, образно говоря, отдельно взятый вагон, а всё человечество – это поезд. И чтобы двигаться и развиваться, нужен локомотив, общая идея. Каждый в отдельности, без осознания своей принадлежности к целому, так и будет топтаться всю жизнь на одном месте, стоять на своей или, того

хуже, чужой станции или ехать в чужом вагоне. И только поняв себя, объединившись, осознав и поставив общую задачу, можно двигаться вперёд.

Но, пока люди говорили друг с другом, пытались наладить диалог, что-то придумать, произошло ещё кое-что. И тут по рации сообщается, что авария устранена, и вагон трогается с места, все радуются, но на ближайшей остановке пассажиров вагона и зрителей ждёт неприятная правда о новой реальности…

Сама пьеса «Life-Life» читается замечательно, в ней ощущается литература, есть юмор и большое количество разнообразных персонажей из реальной жизни. Сюжет, люди, диалоги, мысли, ирония – всё это ещё долго не потеряет актуальности, поскольку отражает нашу современную жизнь.

Глеб Нагорный написал эту пьесу ещё в 2006 году. По его мнению, самое страшное в современной драматургии – конъюнктура. Поэтому в его пьесе нет известных нам популярных лиц. Зато есть совершенно обычные люди – сильные и слабые, местами похожие на нас с вами. В чём-то с каждым из них можно согласиться, а где-то и поспорить. Ведь и в жизни нет чёрного и белого, она вся состоит из полутонов. Пьеса соответствует современному обществу, и это, по мнению автора, должно обеспечить ей долгую жизнь. Кстати, пьеса уже поставлена в Русском драматическом театре Литвы, Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова. Кроме того, готовится постановка в Мурманском областном драматическом театре, а теперь этот замечательный спектакль в постмодернистском стиле появился и в репертуаре тольяттинского Молодёжного драматического театра.

Думаю, практически любой зритель может увидеть в спектакле себя. Разнообразие характеров и ситуация, которая может произойти внезапно в жизни каждого из нас, а также отсутствие главного героя, придаёт спектаклю ощущение реальности происходящего. Здесь, как и в жизни, не зависимо от того лидер ты по природе своей или ведомый, есть моменты, когда каждый из нас играет ключевую роль. Этого, возможно, не хватает современной драматургии.

Несмотря на «голую» правду о жизни, которую стремится показать нам автор пьесы и режиссёр-постановщик, в спектакле много весёлых моментов. А приятные эмоции после просмотра остаются, может быть, ещё и потому, что спектакль и в самом деле получился неконъюнктурный.

На протяжении всего просмотра пребываешь в абсолютном неведении относительно концовки. Спектакль начинается с почти обычной детективной истории, а заканчивается оглушительным шоу, которое, если задуматься, и составляет нашу современную реальность.

Татьяна РУФЕЕВА
«Литературная Россия»,
№40 (2578), 5 октября 2012 г.;
«CityTraffic.ru», 19 сентября 2012 г.

Тольятти.
Юбилейная тольяттинская осень

14 сентября Молодежный Драматический Театр города Тольятти торжественно открывал свой юбилейный XX сезон. Весь город поздравлял юбиляра, праздник кипел и на площади возле театра и в самом здании, на всех этажах которого готовился торжественный вечер… С крыши пускали салют – словом, все, как полагается в такой знаменательный день… История тольяттинского Молодежного Драматического Театра началась двадцать лет назад. Он был открыт в 1992 году, первоначально предназначался для детей и юношества и имел статус ТЮЗа. Организаторы предполагали с его помощью сделать для юных тольяттинцев свой особый островок нравственности и порядочности в том неспокойном мире, который нас окружал. С тех пор и поныне основу репертуара театра составляют лучшие произведения отечественной и мировой драматургии… Интересы МДТ самые широкие: классика и авангард, история и современность, драма и детские спектакли. Экспериментаторство и поиск актуальной новой пьесы – в обязательной программе МДТ, учитывая молодежную ориентацию всей его жизни и деятельности. Именно свежей, не известной в Тольятти пьесой «Life-Life» открывался новый сезон, и на торжественную премьеру был приглашен из Москвы сам автор, Глеб Нагорный. После Вильнюса и Ставрополя, в Тольятти состоялась уже третья постановка этой пьесы. Интересно, что драматург предоставил постановщику Владимиру Хрущеву право абсолютно вольного обращения с его текстом: «Я не из тех авторов, которые бьются за каждую фразу. Есть такие графоманы, которые говорят: „Ни в коем разе не режьте меня, потому что это все очень важно, это лучшие фразы из текста“. Я даже не знаю на самом деле, что Владимир сократил. Если ему что-то нужно для дела – то ради бога, потому что по результату должен быть спектакль, а не пьеса для читки, как это сейчас очень модно в той же Москве. То есть – когда читки стали выдаваться за полноценные спектакли, и им дают уже Золотые Маски – что, на мой взгляд, является абсолютным беспределом. Поэтому – как Владимир Хрущев сделает, так оно и будет. Тут, конечно, приоритет за режиссером, а не за драматургом». Автор вообще показал себя человеком веселым, симпатичным и открытым. На пресс-конференции по поводу своей премьеры был крайне остроумен и щедро делился впечатлениями о московской театральной жизни… Его пьеса – современный городской трагифарс (одновременно и психологический триллер), в котором ощутимы мистические традиции Юрия Мамлеева. Пьесу можно было бы назвать «Затерянные под землей» – поскольку речь идет о вагоне метро, остановившемся в туннеле, где пассажиры в страхе и панике вынуждены были провести всю ночь. Перед нами оказался некий ковчег современников – конечно же, с извечными русскими экзистенциальными разговорами, которые начинаются с мелочей и переходят к размышлениям о смысле жизни и к катарсису. Ведь в вагоне имели место и убийство, и момент «точки невозврата» героев, переступивших границы своего обыденного мышления, и авантюрный финал. Пьеса сама по себе очень литературна, изобилует подробнейшими ремарками и собственной, авторской «режиссурой характеров» с исчерпывающим описанием внешности и поведения каждого. Словом, бери и ставь все, как написано, пользуйся авторской щедростью! Но Владимир Хрущев решительно пошел своим путем: и, если пьеса развивалась с добротной подробностью, то режиссура внесла динамизм, которого в ней не было – чуть ли вполовину сократив текст и поставив действие на рельсы стремительного движения. Непрерывно «ломающееся» пространство, рассыпающиеся в стороны стены злополучного вагона создавали ритмы тревоги и страха. Сочетание иронии и жутковатой инфернальности довершали стиль злой притчи о мельчающем современном человеке, который с годами не становится лучше…

Ольга ИГНАТЮК
«Страстной бульвар, 10»,
№3—153/2012.

Лайф – это не Жизнь

Новый сезон краевой драматический театр открыл спектаклем «Лайф-Лайф», что в переводе с английского значит «Жизнь-Жизнь».

Драматург придумал сюжет, изобилующий неожиданными поворотами. Рассказать обо всех хитросплетениях интриги нельзя. Это приблизительно то же самое, что в начале истории о запутанном преступлении ткнуть пальцем в персонажа: «Убийца он». И хотя «Лайф…», в общем-то, не детектив. С другой стороны, как посмотреть: убийство имеет место. Нечто вроде расследования тоже. А совершенно неожиданный финал, к криминалу отношения вообще не имеющий, его по какому жанру числить?

Атмосфера

Вы входите в зал и видите, что привычного занавеса нет. Тяжелая ткань служит для разграничения разных миров. Погаснет свет, и распахнется вход в чудесный мир, не похожий на будничную реальность.

Для «Лайфа…» это противопоказано. Здесь прямо перед первым рядом пространство, где будет разыграна наша действительность.

Ожидая начала действия, вы долго всматриваетесь в черные, словно закопченные стены с выгоревшими фризами, изображающими счастливую жизнь. Московское метро? Но в подземных вокзалах картинки сияют яркими веселыми красками. А этот склеп словно взят из романа Дмитрия Глуховского.

Наконец, появятся люди. Пассажиры. Все они одеты в одинаковые прозрачные плащи, похожие на костюмы противорадиационной защиты. Эти дождевики – символ замкнутости каждого из героев в собственном коконе. Ты отгорожен и от других, и от мира, пораженного невидимой, не имеющей цвета, вкуса и запаха отравой. А поскольку все оболочки сходны, на сцену вываливает толпа одинаковых людей.

Потом поезд помчится по туннелям, случится авария, и 14 человек, запертых в вагоне, начнут вынужденное общение.

Действующие лица

Глеб Нагорный не задавался целью глубоко разработать характеры. В спектакле действуют типажи, каких можно встретить на улице города. Приблатненный мужик. Менеджер компании «Лайф-Лайф». (За немалые деньги здесь обучат вас, как правильно, позитивно относиться к жизни. То есть ничего не принимать близко к сердцу.) Мама с сыном-калекой, интеллигент с двумя высшими образованиями («Корячусь теперь на заводе за 10 тысяч в месяц»). Девица неопределенных занятий, но вполне определенной внешности. Студент. Преуспевающие предприниматели. И другие узнаваемые лица и костюмы, уже не дождевики. Случайный, но вполне репрезентативный срез общества.

Что станут обсуждать эти люди? Темы, которые у всех «на слуху». То есть самые болезненные вопросы современного бытия и существования: развалили и разворовали великую страну или дали возможность со вкусом жить энергичным людям? Как всегда: кому на Руси жить хорошо, кто виноват и что делать?

Застрял посреди темного туннеля поезд? Под конвоем привычных ассоциаций является соображение: теракт. Начинается вполне фарсовая реприза «Поиски бомбы». Когда смотришь на таких же обывателей, как сам, со стороны, их страхи выглядят уморительно смешными. А глубоко внутри шевелится ужас человека, которому хоть раз да довелось оказаться в одной

остановке, в пяти минутах или, не дай Бог, в эпицентре очередной катастрофы. В жизненный опыт россиянина это вошло неотъемлемой частью.

Потом обнаружится труп одного из пассажиров с огромным кухонным ножом в груди. Начнется новая реприза – «Расследование». Основополагающая ситуация классического детектива – душегубство в замкнутом помещении, поиски злоумышленника среди ограниченного «контингента» персонажей. От «Убийства в Восточном экспрессе» до «12 разгневанных мужчин» театр и кино создали законы и поэтику подобного зрелища.

Только вот Нагорному дедуктивный метод абсолютно не интересен. Да оно и логично, кто может представить себе Шерлока Холмса, разъезжающего по современной Москве на метро? Наши соотечественники будут устанавливать преступника иными, более привычными, чем умозаключения, способами.

Например, руководствуясь правилами модной игры «Мафия». И расследование оборачивается пародией на детектив, доходящей до фарса, когда выяснится, что покойник умудрился исчезнуть из вагона.

Миражи – это наша жизнь

Как только мы осознаем это, становится понятным, почему пьеса и, соответственно, спектакль складывается из отдельных «реприз». Сюжет здесь состоит не из действий или событий, а из движения по господствующим «мифам» времени.

У типичных персонажей, какими их создал драматург, «крупноблочное мышление». Каждый сросся с идеями, мыслями, фразами, пришедшими из газет и с телеэкранов, из гламурных журналов или даже из должностных инструкций, отождествил себя с ними.

Индивид превращается в рупор укоренившегося мифа («Меньше негатива. Позитивнее мыслить надо»). А миф, овладев умами, в полном соответствии с учением превращается во вполне материальную силу. Горячие, до мордобоя, споры, которые ведут герои, в большой мере столкновения не личностей, а социальных установок. Подобные образования Бэкон называл «идолами сознания», а Ницше подступал к ним с молотком.

Для каждого из действующих лиц однажды наступает «момент истины», когда обстоятельства сдирают защитный панцирь убеждений, и перед нами – слабый, беззащитный и жалкий человек, не защищенный милицейской инструкцией, нарядом от «Дольче» или статусом менеджера преуспевающей фирмы. В этот миг в зрительном зале рождается сочувствие. Потому, наверное, что мифы разделяют людей на «тако» и «инако» верующих. А сострадание должно существовать на уровне главного инстинкта, а не какой бы то ни было идеологии.

Собственно, спектакль получился именно об этом – о тьме мелких обманов, соединившихся сегодня в идеологию, в представление о том, какова жизнь. О том, что каждый из нас зомбирован и подготовлен к тому, чтобы им управлял кто угодно – партия, фирма, секта.

И неожиданный финал воспринимается как абсолютно логичное завершение действия. Вся история и должна была оказаться еще одной манипуляцией. Отличие от предшествовавших только одно: теперь героям наглядно показали, как пляшут они, «марионетки в ловких и натруженных руках».

Необходимо заметить, что существует еще один вариант понимания (трактовки) спектакля. Люди попали в критическую ситуацию, под ее воздействием открыли свои души и в этот момент узнали, что были только подопытными мышами в нехитром лабиринте.

Интерпретации можно предлагать любые. Главное, каждому зрителю запомнится финал: растерянные, уязвленные люди, точно такие же, как мы с вами. Их, как сказал бы персонаж американского боевика в русском переводе, только что в очередной раз поимели, даже не поцеловав. Они долго, долго уходят по некогда сиявшим яркими красками, а ныне словно выжженным коридорам метрополитена.

Геннадий ХАЗАНОВ
«Наше Ставрополье»,
№122 (517), 30 октября 2010 г.

Life, зачем ты нам дана? Ставропольский академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова

В декабрьской афише Ставропольского академического театра драмы им. М. Ю. Лермонтова девять (!) спектаклей отмечены красной надписью «премьера». По отношению к нему можно назвать еще несколько впечатляющих цифр. Например, из 400 тысяч населения краевого центра 120 тысяч ежегодно бывает на спектаклях; из них 80 тысяч – дети разных возрастов…

Смотреть в театре есть что: спектакли по произведениям Лермонтова, Гоголя, Гольдони; почти половину афиши составляют пьесы современных авторов (явление нечастое на нашем театральном пространстве) – Мамлина, Мережко, Полякова, Ладо, Юрченко, Нагорного, Шендеровича. Плюс классики советской драматургии Арбузов и Цагарели…

«Лайф-Лайф» («Life-Life») поставил режиссер из Литвы Юрий Попов (бывший ростовчанин), и нынешний ростовчанин Анатолий Шикуля оформил спектакль как сценограф и автор костюмов… в основу ее автор положил один из кочующих сюжетов мировой драматургии: то группа людей оказывается запертой в комнате, из которой нельзя выйти; то в отеле, заваленном снегом; то в салоне автобуса; то в тюремной камере… Как правило, в замкнутом пространстве представлен социальный срез общества, и хватает двух часов сценического времени, чтобы его социальные язвы обнажить. По мере расследования неизбежного в таких сюжетах убийства (или мнимого убийства) подозрение поочередно падает на каждого (или почти на каждого) из персонажей, и чего только мы не узнаем о них по мере того, как они вынуждены оправдываться и отбиваться!

Все это у Глеба Нагорного наличествует, но в традиционный жанр внесены существенные коррективы. Я бы назвала жанр язвительной комедией, в которой серьез или даже надрыв в чьей-то речи тут же снимается иронической репликой товарища по временному заточению.

Художник выстраивает на сцене две подвижные конструкции – две половины вагона московского метро. Сдвигают и раздвигают их сами исполнители – то в одну линию, то друг против друга, то по диагонали. 14 человек, неразличимых в прозрачных плащах с капюшонами, входят в вагон. Сняв их, они вскорости обнаружат разность характеров, точек зрения и наклонностей.

Вполне сегодняшнюю историю художник растягивает во времени – на целое столетие, нарядив персонажей в свободное шелковое платье начала века, в пиджак довоенного кроя, в тусклый костюмчик 50-х, в вельветовую пару 70-х, спортивный костюм 80-х и, наконец, в майки, высокие шнурованные ботинки и яркие колготки нулевых годов.

То есть история с остановкой вагона и выяснением отношений могла произойти когда угодно, и люди вели бы себя точно так же.

То, что природа советского человека не успела кардинально измениться, подтверждает и финал: выкатывается, весь в тросах, огромный бюст вождя революции – откуда-то свергли его; может, с какой-то станции метро. В общем, метафора представлена «грубо, зримо» и столь же «грубо и зримо» перечеркивается верноподданнической речью Инженера в кепке: какие бы перемены в жизни ни произошли, большинство людей по-прежнему себя под Лениным чистит.

Герои «Лайфа» колоритны и играются со вкусом: громогласный обличитель власти Игорь Сергеевич (тот самый Инженер в кепке) – Михаил Новаков; Петр (Мужик) с замашками бывалого урки, что и окажется правдой, – Владимир Зоря; Арнольд (Лайфист), энтузиаст оздоровления сознания, беззаветный труженик фирмы «Лайф-Лайф» – Евгений Задорожный; Баба с пакетами и неутолимым аппетитом (в ресторане горбатится) – Светлана Колганова; вроде бы неприметный, себе на уме Белов (Мужчина с кейсом) – Александр Ростов; здравомысля-

щий простецкий парень без особых примет, именуемый «Просто мужчина», – Владимир Петренко…

Первое действие подкидывает зрителям интригу за интригой, оно увлекательно и стремительно. Репризный текст летает, как шарик в пинг-понге, от одного персонажа к другому. В комедийной заостренности ситуации ощущаются естественные ограничители в виде чувства меры, не позволяющего артистам принажать на остроумные реплики, придав им эстрадную броскость.

Эффектен финал первого действия: свет в вагоне гаснет, пассажиры исчезают, на заднике загорается перспектива подземки – это тщательно сработанная видеоинсталляция. Таинственные черные своды над рельсами – путь, ведущий неизвестно куда. В тишине явственен звук падающих капель. Вполне апокалипсическая картинка.

Второе действие больше катит по сюжету, чем открывает что-то новое в людях, про которых нам уже все ясно. Они повторяют себя. Даже те, что снабжены длинными монологами. Мне кажется, изящная, без нажима роль Натальи Зубковой, играющей неколебимую, умную, умеющую пользоваться своими чарами Аллу Григорьевну, тускнеет, когда эта Женщина с длинными ногтями горячится и кликушествует.

Думается, напрасно Игорь Сергеевич, стоя перед микрофонами реалити-шоу (в которое всех пассажиров втравили), благодарит правительство с тем же пафосом, с которым он только что поносил режим. За его спиной стояли еще не остывшие от приключения спутники, и он наверняка, при всей своей бессовестности, слегка стеснялся их – такие люди чаще делают подлянку тихой сапой, понизив голос, чтобы и в одной, и в противоположной стороне выглядеть значительными.

А вот в маленькой сцене с Парнем (Денис Криштопов) абсолютно уловлен родовой признак типа, который представляет Инженер в кепке. Народ в вагоне перекусывает неистощимыми запасами сердобольной Бабы с пакетами, а возмущенный разум Инженера все кипит. Ему якобы не до прозы жизни, хотя есть охота – это видно по взгляду, который он демонстративно отводит от жующих. Парень подсаживается к нему и осторожно, точно кусачему псу, пододвигает пластиковую коробочку с бутербродом, тихонько увещевая: «Поешьте… Поешьте…». И тот, смиряя гордыню, откусывает от бутерброда, в следующую же секунду продолжая свой демагогический марафон. «Как жить?» – драматически выдыхает он, не успев прожевать.

В своеобразном Ноевом ковчеге, где кого только нет: от хозяев жизни до маргиналов – молодая поросль представлена именно этим Парнем (студентом) и Девицей в мини (Марина Каткова). Возраст их не объединяет; видимо, росли они, играя в разных песочницах. Скепсис юноши-студента по отношению к общей передряге в целом распространяется и на эту барышню в частности. Он ее вычислил моментально, что было несложно. Зрителям тоже. По прискорбно элементарному сленгу, подчеркнуто разболтанному шагу, застывшему взгляду и жующим челюстям…

В финале ликующие организаторы реалити-шоу в слепящих после мрака красных костюмах ведут себя как на параде, становясь «в фигуры» под бодрый голос Олега Газманова («Москва, гремят колокола…»), а люди, которых разыграли, медленно уходят восвояси уже не теми, что входили сюда в одинаковых дождевиках…

Людмила ФРЕЙДЛИН
«Страстной бульвар, 10»,
№5—135/2011.

Театральный аргумент

В Русском драматическом театре Литвы премьера, которую можно приравнять к крупному событию, дающему повод порассуждать о процессах в культурной жизни русской общины. В страстные споры о роли театра в деле сохранения русской культуры буквально влетела пьеса талантливого драматурга Глеба Нагорного, члена Международной федерации русскоязычных писателей (Лондон, Будапешт).

Сначала о пьесе. Она называется претенциозно – «Лайф-Лайф». Это вызывает смутные подозрения: уж не происходит ли творчество автора из высокомерной и часто малопонятной стихии андеграунда, тем более что действие спектакля – в «подполье», в вагоне метрополитена. Но с первых эпизодов становится ясно: таким названием автор обозначил горькое ироническое отношение к грустным реалиям нашей жизни.

«Лайф-Лайф» в применении к узнаваемым персонажам – от простых людей с их забавным суржиком до представителей псевдоэлиты и фальшивых правдолюбцев – как обобщенный символ инородного влияния на наши исконные порядки. Вот и «лайфист» – чудаковатый парень из некоей фирмы психологических услуг под названием «Лайф-Лайф» – назойлив со своими никчемными советами.

Г. Нагорный и режиссер Юрий Попов ставят двойной эксперимент. Один мы наблюдаем – он в сюжете пьесы. В другом участвуем сами – заденет ли за живое кажущаяся искусственной фабула, на самом деле списанная из жизни, но творчески переосмысленная.

Автор поместил героев в замкнутое пространство – вагон московского метро. Где-то происходит авария. Вагон стоит на путях. Пассажиры – представители разных слоев общества – вынужденно общаются. И вдруг выясняется, что один из них в сутолоке, возникшей из-за торможения, убит. Пассажиры начинают разбираться, и каждый обнажает свою суть. Но по ходу действия в финале мы узнаем: над ними фактически поставили эксперимент, жестокий и инородный для русской земли, но, к сожалению, приживающийся. Какой?

Этот секрет откроется театралам, которые еще не видели спектакля. Скажу лишь, что внедрение образа «Лайф», довлеющего над персонажами, стало своеобразным тестом для героев и зрителей, каждый из которых по-своему воспринимает то испытание, или подарок природы, который называется «Жизнь».

Если бы дело сводилось просто к появлению хорошей постановки, то и повода для заметок не возникло бы. Что говорить о добротных театральных буднях, если к ним уже привыкли? Вот ведь в прошлом году театр порадовал отличным спектаклем – пьесой Николая Васильевича Гоголя «Игроки», замечательно поставленной и отлично сыгранной. Но не было неожиданности, а был очередной приятный сюрприз, даже некая традиция, выразившаяся в обращении к творчеству великого писателя. Ну и другие постановки, очень даже приличные, не выходили все-таки за рамки традиции, поскольку дань отдавалась произведениям известных, раскрученных авторов. В этом нет ничего плохого. Хорошо поставленная русская и иностранная классика, а также модные пьесы помогли театру вернуть зрителя. Аншлаги – тому свидетельство…

И тут афиши объявили о новой премьере – пьесе «Лайф-Лайф»… Эти английские слова вызвали смутные сомнения, и чтобы быть готовым к неприятному сюрпризу, я специально связался с Г. Нагорным и попросил показать пьесу. Открыл в Интернете текст и прочитал. И понял, что опасения напрасны…

Потом было лишь волнение – а что сделают с пьесой в театре? Какое особое прочтение предложат? В программке значится «трагифарс», так написано, наверное, для того, чтобы раскрутить спектакль. Действие носит черты фарса, но на самом деле все так узнаваемо, смешно и грустно, что лучше бы назвать пьесу трагикомедией.

Однако пишу не рецензию, пусть этим занимаются театральные критики, а просто делюсь впечатлением в связи с теми тревогами, которые часть общины связывает с очагом русской культуры в Литве – Русским драмтеатром, и пытаюсь предугадать его судьбу. При короткой встрече с Й. Вайткусом он сказал мне о работе Глеба: «Я ее выбрал, потому что это хорошая пьеса». Тогда я еще не видел спектакля. А теперь понял, что независимо от причин смены руководства нет задачи погасить очаг культуры, иначе Й. Вайткус не дал бы «зеленый свет» этой пьесе. Могут быть проблемы, связанные с различием менталитетов, но для настоящего искусства это не барьер…

Юрий СТРОГАНОВ
«Экспресс-неделя»,
50 (618), 11 декабря 2008 г.

Московское метро по-литовски
«Life-Life» по-русски

В минувшем году в одном из московских издательств вышла книга Антона Некрасова «Metro 2008», издатели которой определили сей труд как роман-бомбу и снабдили своеобразным эпиграфом: «Поезд дальше не идет» – самая большая ложь метрополитена». То, что происходит в столичной подземке, переваривающей за сутки около 10 миллионов пассажиров, как и в менее масштабных подземных транспортных дворцах других городов, способно вызвать у читателя чувство ужаса. В конце того же 2008 года в Вильнюсе в Русском драматическом театре Литвы поставили спектакль по пьесе Глеба Нагорного «Life-Life». На программке – знаменитый фонтан «Дружба народов», ставший символом ВДНХ. Глеб Нагорный – сам родом из Литвы. Получил там юридическое образование, имел хорошую практику, но в какой-то момент все бросил и уехал в Москву учиться кинорежиссуре, причем у классика Марлена Хуциева. Написал роман, а теперь и пьесу, рассказывающую о монстре под названием Московский метрополитен. Эта пьеса, дающая возможность занять разновозрастную труппу любого театра, с хорошими женскими и мужскими ролями, должна иметь успех на просторах России. К тому же нехватка современных пьес все еще остро ощущается в современном театре.

Обычный рядовой день в столичной подземке. Люди спешат по делам, у каждого свои планы, в которые совсем не входит длительное времяпрепровождение в вагоне. Но поезд отчего-то дальше не идет. И люди, незнакомые еще несколько минут назад, вступают в определенные отношения, сообразно возникшей ситуации. Вагон становится своего рода микромоделью социума. В одном пространстве оказались бомж, женщина с ребенком-инвалидом, пенсионер с кроссвордом, тетка с пакетами, которые очень пригодятся, поскольку в них еда, а сидеть под землей придется довольно долго, инженер, деловой человек, бизнес-леди, по чистой случайности спустившаяся в метро… Если внимательно присмотреться к тем, кто едет с нами в вагоне ежедневно, увидишь примерно ту же картину. Ситуация, как говорится, модельная. Из разговоров, столкновений в вагоне, страхов не выйти из него вообще никогда рождается понимание того, чем, собственно, все мы живем, будь то мегаполис или небольшой городок.

Удивительно все это было видеть в Литве, ставшей совсем европейской, живущей спокойной и на первый взгляд мирной жизнью. Если не считать того, что в дни пребывания в Вильнюсе как раз прошел марш протеста и люди вышли на центральную улицу, чтобы выразить недовольство тем, что происходит в стране в дни кризиса. Среди них – работники культуры. Все мирно, цивилизованно. Но разбиты стекла учреждений, и несколько человек серьезно пострадали от резиновых пуль, выпущенных теми, кто призван был охранять порядок. Картинка, возникшая на экранах телевизоров в блоке новостей, была устрашающей. А на взгляд обывателя, все мирно и спокойно. Так и наша жизнь – все вроде бы идет своим чередом, но только до определенной поры. Социум оказывается встревоженным ульем. Таковы особенности современной жизни.

Сценограф Андрюс Жибикас воздвиг на сцене самый настоящий вагон. Воссоздано все в деталях. Вплоть до объявлений, звучащих в метро. Режиссер Юрий Попов не акцентирует замкнутость пространства. Оно как раз открыто, широко открыто, тут словно бы гуляет ветер, который может внести любое дуновение, самое непредсказуемое развитие событий. Они и не предсказуемы. Есть и труп, и его исчезновение, и даже откуда-то взявшийся милиционер, начинающий расследование, словно специально для того подосланный…

В последнее время никакой другой спектакль в этих стенах не вызывал такого наплыва публики.

Светлана ХОХРЯКОВА
«Культура», №8 (7671),
26 февраля – 4 марта 2009 г.

ФЛЁР
Роман-файл

Книга, господа, – это большое количество нарезанных в четвёрку листов бумаги разного формата, напечатанных и собранных вместе, переплетённых и склеенных клейстером. Да-с. Знаете ли вы, господа, что такое клейстер? Клейстер – это клей.
Я. Гашек

Флёр, – а, м. (нем. Flor)

1) Тонкая, прозрачная (обычно шёлковая) ткань;

2) Скрывающая пелена, которая мешает ясно видеть что-л.; покров таинственности, окутывающий что-л.

(Большой иллюстрированный словарь иностранных слов. – М.: ООО «Русские словари»: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОТДЕЛЫ

Все события и персонажи являются реальными. Любые совпадения с действительностью намеренны.

Ализариновые чернила

В темноте длинных коридоров, петляющих и сворачивающих в самых немыслимых местах, в тупиках и неизведанных пространствах этажей, покрытых пылью и изъеденных грибком, послышалось жужжание и глухое потрескивание, Здание, наподобие мощной турбины, тяжело вдохнуло-выдохнуло, мглу разорвало голубым лучом, яркий искусственный свет полоснул по кабинетам и табличкам, – просочившись в наиболее отдаленные уголки, разбудил служащих, прислуживающих и подслуживающих, оживил всевозможные отделы и ведомства, единственное наружное давно не мытое Окно перелилось из мутно-фиолетового в бутылочно-осколочное… и, наконец, повсюду зажглись режущие глаз многочисленные огни.

Начался обычный трудовой день.

Просыпающиеся, зевающие, суставно-хрустно потягивающиеся чиновники одного из подразделений вяло перекладывали бумаги с места на место, сонно обменивались репликами и делились ночными впечатлениями.

– Представляете, мне снилось, что за нами есть жизнь! – оторвавшись от загроможденного бумагами стола, произнес потрепанный приказный крючок с чернильной душой и крапивным семенем на лице.

Он жизнерадостно хрустнул корешком позвоночника, выпрямился, и ворох желтых, замызганных листов, составлявших его костюм, словно крылья изготовившейся к полету птицы, нервно затрепетал. Служащий попытался воспарить, но лишь скорбно вздохнул и в который раз в своей жизни безвольно склонился над столом. Через мгновение отпрянул и закашлялся: мрачная тень упала на тушку чернильницы, внутри которой показался сочный никотиновый червь – жирный белесый окурок с солнечной каймой и остатками света «… Lights».

– Полноте, Словник, рожденный ползать – упасть не может… Радуйтесь хотя бы этому… – булькнул отечный субъект в глянцевом переливающемся костюме, восседавший за перпендикулярным столом. Выдув в потолок два кольца – одно в другое, – он перегнулся через стоящий около забитой окурками держательницы для перьев покосившийся картонный трехгранник, на котором жирным курсивом значилось: «Тезаурус. От А до Я», – сдул с него пыль, стряхнул пепел с сигареты в чернильницу Словника и выжался из-за стола.

– Всё вы со своими шуточками, Тезаурус, – вознегодовал Словник. – Но ведь хочется, понимаете? Хочется.

– Здание – единственное разумное образование. Если и возможна другая жизнь, то только в другом подобном Массиве, – размеренно вышагивая по кабинету, будто ставя жирные точки, отозвался Тезаурус.

– А как же Окно? Вероятно, Оно и ведет нас в мир Иной… – не сдавался Словник.

– Окно есть фотообои. И любое кажущееся нам проявление жизни за Ним – иллюзия. Вам ли не знать, что Всё, творящееся за Ним, лишь плод фантазии мастеров кутюрного цеха? – Тезаурус помедлил: – И да будет вам известно: Заоконье полностью принадлежит Зданию.

– Жаль, – огорченно молвил Словник. – Приятный, нет, я бы даже сказал, удивительный был сон. Свобода! Полет! Фантазия!

– Вам что, у нас не нравится? – Тезаурус перестал чеканить шаг и остановился. Задушил-раздавил никотинового червя в чернильнице коллеги.

Словнику показалось, что на него уставилась жирная клякса – средоточие всех каллиграфических бед. Казалось бы, стоит перед ним уважаемый работник печатного цеха, в котором таится вся информация Здания от «А» до «Я»: математика и поэзия, аксиома и ямб, а приглядишься – ничего-то за ним, кроме азбуки ярыжничества, и нет. Мелкий чинуша, паяц, запойник, возомнивший, что знает о Здании больше, чем Оно собой представляет, и потому наделивший себя правом вот так язвительно отзываться о самых сокровенных мечтах, подрезать крылья на стадии оперивания.

Словник, отгоняя тяжелые мысли, мотнул бумажной головой, скорбно сложил руки и превратился в тонкую беспомощную брошюру-замызгыш.

– Сложно сказать, – процедил он, – просто жизнь у нас неестественная какая-то, лежалая, непроветренная, что ли. Я в Здании достаточно давно, но смысла своего существования так и не постиг: исправление ошибок, стилистическая правка… А зачем? Кто это всё читает? Кому это нужно? И вообще… – Словник сделал продолжительную паузу. – Вы чувствуете, как у нас тут затхленько, заляпано да изгваздано? Жизни нет. По правилам живем, по написанному, по неискореняемому.

– Милый Словник… Вы просто не выспались или не проспались, – с несвойственной ему мягкостью произнес Тезаурус и пунктирно задвигался по кабинету, отчего было крайне сложно воспринимать то, что он говорил. Он то подлетал к двери, то возвращался, то останавливался около пыльного стеллажа со словарями и емкостями и, жадно облизываясь, смотрел на полупустую бутыль ализариновых[1] чернил, стоящую около *лазерных* искрящихся банок, по цвету и форме напоминавших шампанское в пузатых бокалах, то вдруг подбегал к неполированному обшарпанному столу с тумбой, нагибался, озабоченно дергал ящики и нервно приговаривал: «Не тут, ах, не тут… Где же он, гранями сверкающий?..» А то подолгу зависал над мудреной мыслью и комкал ее одной фразой, придавая словам только ему одному ведомые значения.

– Вы еще молоды, ох как молоды… Куда же он запропастился?.. Ну и запах!.. *Язычники* мы, язычники… чинодралы… бражники… А, во! – облизнув потрескавшиеся губы, воскликнул Тезаурус и разогнулся. Ногой задвинул нижний ящик тумбы. В руках у него сверкнул стеклянный цилиндрический сосуд в мутноватых потеках. Тезаурус направился к стеллажу, залихватски дыхнул в стакан, вытер его сияющей от каждодневной борьбы с антисанитарией полой пиджака, снял полуполную бутыль чернил и плеснул на пять пальцев – стакан наполнился до краев.

– У? – предложил он Словнику.

– Эх, давайте, – обреченно согласился тот, направляясь к стеллажу.

– Так я и говорю… – продолжал Тезаурус, ревниво следя за коллегой, мелкими глотками вливающим в себя содержимое стакана. Словник допил, икнул, и бусинки хмельной жидкости стекли на воротничок сомнительной свежести. – …Победили ячество да искажения в языке…

– Чавой? – нервно и шумно дернув листиками ресниц, вопросил Словник.

Тезаурус оставил вопрос без ответа, взмахнув правой манжетой в прелестных тучках, наполнил стакан, произнес: «Вашздров» – и, гулько глокая, одним махом влил в себя чернила.

– Ко мне за помощью в последнее время редко кто обращается, – заметил Тезаурус, – однако я не забиваю себе голову такими пустыми вещами, как мессианство, смысл существо-

[1] Ализарин (*франц.* alizarine) – краситель, один из самых древних в Европе; производные ализарина часто применялись для крашения тканей в красный, фиолетовый и розовый цвета; добывался из корней марены.

вания и предназначение субъекта в объекте. Моя мораль проста: я создан – следовательно, существую. Впрочем, что-то подобное уже где-то было.

– Неверная формулировка, – не согласился с ним Словник. – Жизнь определяется, прежде всего, активностью. Ваш взгляд на вещи, уважаемый Тезаурус, рождает пассивное отношение к жизни. Мы призваны создавать, но соЗдание нас с вами рождает лишь право на существование, в то время как само существование еще не является жизнью в смысле активизации наших ресурсов. Ибо существование – это пассив, в то время как жизнь есть актив. Во как! Вы меня поняли?

Тезаурус смотрел куда-то вдаль. Понять Словника было крайне сложно.

– Еще по одной? А то муторно. – Он снова налил и протянул стакан сослуживцу.

– Вы абсолютно правильно выразились: вы – существуете, иными словами, являетесь носителем заложенного в вас потенциала, который сам по себе не рождает никакого результата… Его, результат, порождает некий неподвластный вам вектор, направление которого зависит от воли Здания… – в свою очередь проглокал Словник после очередной порции ализарина. – Так вот, я хочу жить, а именно: творить и созидать. Самому выбирать направления векторов, таящихся во мне. Вы же существуете, ибо полагаетесь на волю Здания, осуществляя некие функции, смысл которых мало понятен вам самому. И я хочу вас спросить, отдаете ли вы себе отчет, ради чего вы всё это, уважаемый, делаете?

– А вы?

– Признаться, нет. Но мне бы очень хотелось постичь эту неимоверную загадку. Я не бездействую, но живу ли?

– В таком случае, и я со своей стороны должен заметить, что жизнь, развертывая вашу формулировку, определяется не только активностью, но и…

– Именно, Тезаурус, простите, что перебиваю вас. Я недостаточно точно сформулировал – активностью, призванной давать результат, к которому мы *сами* стремимся, а не который нам навязывает Здание. Я, например, результатов своей деятельности не воспринимаю, поскольку не могу понять: ради чего, повторяю, ради Чего, я выполняю ту или иную функцию?

– Наше дело маленькое: шрифтуем, правим, вычитываем. Вам этого мало? – Тезаурус слил остатки в стакан, экспромтом выпалил: «За хрустальные бокалы наших граненых душ», – освежился, съежился до карманного размера и направился к своему столу.

– Да, мало. Во имя Чего? Зачем? Для Кого?

– Смею заметить, что такой взгляд на вещи опасен. Более того, в нем таится явная подрывная деятельность против устоев Здания, – пропищал Тезаурус и залез под стул. Затерялся в пыли.

– Это бездеятельность наша подрывная, а не деятельность, – устало выдохнул Словник. – Эй! Что это вы скукожились?

– Не играйте словами, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду, – прошипел Тезаурус, выжался из укромного места, трусовато огляделся по сторонам, затем воспрял, отряхнул пыль с костюма и чинно взгромоздился на стул. – Вы слишком молоды, чтобы уяснить простую истину: все мы, без исключений, созданы для Здания, без Здания мы – никто и ничто, и не было еще такого, кто создал бы Здание. Нет, Оно создает нас, мы уже приходим в Него, мы лишь часть Целого… Я не случайно сказал про «ячество», вы, наверное, меня не поняли или не слушали, – так вот, из-за ячества и рушатся все отделы Здания. Из-за абсурдности «я», когда каждое «я» тянет одеяло на себя, а в итоге оно рвется. Но «я» в данном случае в высшей степени парадоксальная величина. Потому что, с одной стороны, все мы пытаемся вычлениться, заявить о себе, а с другой – только в сильно сокращенном, урезанном виде можно продержаться на поверхности, не высовываясь, не рассуждая, не разглагольствуя. Иначе всё – анархия! И вас не будет, и Здания! – Тезаурус вновь стал маленьким и жалким, не превышающим по величине «покетбук».

– Почему же, почему? – истерично завопил Словник, толком ничего не поняв из сказанного. – Вы можете изъясняться проще?

Тезаурус бросил быстрый взгляд по сторонам и страстно зашептал:

– А потому, что как бы хороши наши идеи ни были, моя не подойдет вам, а ваша – мне. Мы разные. И роднит нас только Здание. Только формула «мы – сверх-Я». Да, и я не знаю, для Чего и для Кого я занимаюсь ничем или, напротив, чем-то, но это еще не дает мне права навязывать свою точку зрения другим…

– Но как же вы не понимаете, что всю эту Структуру давным-давно пора менять?! – всплеснув бумажными руками, перебил его Словник.

– Скажите, а вы отдаете себе отчет в том, что если вам удастся всё изменить, то от этого ни Вокабулярием, ни Глоссарием вы всё равно не станете? – Тезаурус увеличился в размерах, перегнулся через стол и ткнул чернильной ручкой Словника в рыхлую грудь.

Коллега отпрянул.

– Что же… что же… что же тогда делать?

– Работать! – вдруг рявкнул Тезаурус. – Знаете, Словник, не стоит забивать себе голову проблемами бытия. От этого само бытие не изменится. Во все времена и во всех отделах были личности или, правильней сказать, антиличности, которые, пытаясь изменить Здание, не меняли при этом себя. Вы в курсе того, чем всё это заканчивалось? Тем, что Здание разваливалось, но при этом сама антиличность оставалась на том же месте, с которого когда-то начинала свой тернистый путь. Она перестраивала отделы, затем рушила их, после – созидала и снова рушила, а в итоге приходила к выводу, что нужно не Здание перестраивать, а прежде всего – себя. Здание – это огромный алфавит, в котором у каждого есть свое место.

– Да не на своем я месте, не на своем! – вскричал Словник.

– Где же оно, ваше? – спокойно поинтересовался Тезаурус.

– Честно?

– Честно.

– Не знаю…

– Вот и не забивайте себе голову пустозвонством. Метанье это всё, метанье. Достаточно прийти к выводу, что Фактически Любой Есть Ресурс, Развитие и Результат, как не нужно будет ничего менять. Представьте только на мгновение, что Здание – алфавит, в котором вы занимаете самое последнее место, и что же, позвольте узнать, произойдет с Ним, когда вас не станет?

– Не будет «я» – не будет алфавита, – подумав, ответил Словник.

– Вы попались на крючок, – хохотнул Тезаурус. – Ваше мнение не только ошибочно, но и настолько амбициозно, что…

– Вы хотите сказать, меня заменят?

– Обязательно. Здание – мудрая самовосстанавливающаяся Система; да, безусловно, на какой-то момент, пока вам будут искать замену, Здание будет пребывать в полуразрушенном состоянии, но время, знаете ли, оно всё лечит…

– Кто же Его будет восстанавливать?

– Не забывайте, что останутся другие «я», которые Его и восстановят, – лукаво подмигнул суперобложкой Тезаурус, поправив мелованную манжету, пропечатанную качественными чернилами.

– Но «я» – это «Я», других «я» нету.

– Нет, вы – это вы, это для себя вы – «я», а для нас вы – вы, – продолжал изгаляться Тезаурус. – Открою вам небольшой секрет: пока вы чувствуете себя частью Здания – вы Ему просто необходимы, но достаточно вам заявить, что вы Зданию не принадлежите, как Оно вас отторгнет и найдет вам подходящую замену. Если вы полагаете, что занимаете не свое место, то всю свою жизнь просто будете находиться в долгосрочной командировке, которая вас никуда

не приведет. У вас два выхода: либо вернуться в Здание, либо попасть в Другое, подобное Ему, где вы опять ударитесь в бессмысленный поиск смысла… И вам не построить своего Здания, ибо для того, чтобы Его создать, нужно множество других «я». Только вот вопрос, каких: маленьких «я», пропагандирующих, как вы, лозунг «я – сверх-Мы», или «Я» больших, живущих по принципу «мы – сверх-Я»?

– Стоп, – оборвал его Словник, тяжело вздохнув. Вытер выступивший на обложке пот, состоящий из букв и знаков препинания. – А вам не кажется, что если, по вашему выражению, Фактически Любой Есть Ресурс, Развитие и Результат, то он и есть Здание?

– Безусловно! Но только тогда, когда он это осознает. В противном случае он будет жалкой аббревиатурой. В нем должно быть триединство этих понятий, иначе… Иначе он и его Здание попросту станут призраком – выдуманным путем в никуда. Поверьте, Словник, не надо ничего менять, всё и так более чем замечательно. Согласен, вы не можете взлететь, не можете вырваться из Здания, а скажите честно, так ли уж это необходимо? Вы только представьте на минутку, что какой-нибудь бездипломный финансист возомнит себя цирюльником высшей гильдии и начнет стричь вам локоны? Или портняжка завалящий объявит себя мастеровым по налоговым делам? Ведь от этого все проблемы и начинаются: мы ищем место, которое находится под нашей двусферной мякотью. Неужели вы не поняли, что как только вы станете элегантным Глоссарием или, предположим, забулдыжным Табуиром, то вам тотчас захочется снова превратиться в Словника? Надо радоваться тому, что вы такой, какой есть, что вы индивидуальность, что вы сами в себе.

– Да, да, я, кажется, понимаю вас. Особенно, что касается забулдыжного. Но при чем тут, как вы там выразились…

– Искажения в языке? Ха! – усмехнулся Тезаурус. – В этом-то всё и дело! Да потому, что кем бы мы себя ни называли, как бы ни пытались выразить свои мысли по-другому – не так, как это делается обычно, – ничего нового мы не скажем. Неважно, какой термин мы подберем – Объект, Массив или Здание, – мы все говорим об одном и том же, не понимая, что просто нужно выбрать что-то общее, определиться в терминологии и понятиях, найти единый для всех язык, и покуда мы будем говорить на разных языках, пока не придем к выводу, что на самом-то деле имеем в виду одно и то же, мы будем путаться, мучиться, искать и, как результат, не Здание находить, а себя терять. Попросту говоря, превратимся в иллюзию, в мираж, в химеру и фантом, – Тезаурус перевел дух.

– Как много слов! – восторженно заметил Словник.

– А понятие всего одно – *ФЛЁР*. И то сказать, понятие ли? Не наделяем ли мы слова тем содержанием, которого в них нет и никогда не было?.. – Тезаурус в задумчивости пожал плечами. – Ну что, еще по одной?

– Пожалуй, – ответил Словник, добавив: – Так всё-таки фотообои… М-да, сложно поверить…

– И, между прочим, – Тезаурус прервал размышления коллеги, – мы обманываем себя сплошь и рядом. Как называем мы это?

Он ткнул себя в среднюю пуговицу пиджака, из которой тянулась глянцевая нить и пропадала за дверью.

– «Серебряная» нить[2], – не задумываясь, отреагировал Словник. – Связь со Зданием.

---

[2] Обыгрывается «серебряный шнур». В эзотерике под серебряным шнуром подразумевается световой луч, соединяющий физическое и астральное тела (также рассматривается как связь «я» со своим «Сверх-Я»). Есть разные мнения по поводу существования серебряного шнура и его положения. Одни утверждают, что он присоединен к пупку физического тела, другие – к области лба, третьи – что его вообще не существует. Его цветовой спектр меняется от бледно-дымчатого до переливающегося всеми цветами радуги. В эзотерической литературе серебряный шнур известен также как линия, канат, цепь, струна, канал, лента, магнетическая нить и т. п. При смерти серебряный шнур обрывается.

– Но ведь это же самообман, вы не находите? У меня-то она глянцевая, а у вас бумажная. – Тезаурус кивнул на нить Словника, которая выходила у того из *живота с пустым содержанием* и терялась за дверью. – А у некоторых ее и нитью назвать нельзя. Так, кляксы какие-то.

– Но вы же прекрасно знаете, что это лишь символ, – запротестовал Словник.

– Хорошенько об этом подумайте, – тихо прошептал Тезаурус. – Нас обезличивают – из нас самих делают символы… а ведь мы разные, ох какие разные… Только пьем одинаково.

С этими словами, перечеркнувшими идею взаимозаменяемости субъектов в объекте, Тезаурус, огромный и глянцевый, направился к стеллажу и подхватил банку лазерных чернил, из-за которой выскочил белый зверек, очень напоминавший мышь…

«Серебряная» нить

В коридорах *с запутанной системой* было не убрано, бумаги и папки беспорядочно валялись на полах, разбитых на прямоугольные плиты. Некоторые секторы и этажи были пустынны. В других, напротив, наблюдалось оживленное движение, и лифт постоянно курсировал между наиболее забитыми персоналом отделами.

По одному из этажей бежал маленький хрупкий зверек, за белый окрас прозванный Альбиносом. Он ткнулся в мусорную корзину, доверху набитую бумагами, беспокойно дернулся и побежал к лифту. Лапки Альбиноса на миг застыли, лифт остановился, створки плавно разошлись в стороны, и тогда зверек, не дожидаясь появления пренеприятнейших субъектов, только и мечтавших избавиться от твари, которая, непонятно откуда взявшись, пугала служащих и расстраивала своим появлением размеренную жизнь в Здании, нервно дернул острой мордочкой и взял влево; юркнул в ближайшую щель и оказался в кабинете без окон, с горящими люминесцентными лампами и длинным столом.

Альбинос притаился и испуганно оглядел кабинет, до отказа наполненный жутковатыми типами.

Некоторые из присутствующих были тучными и немного кривоватыми. Другие – истощены и неестественно прямы. В одних чувствовался абсолют, совершенство и – как часто случается с идеалом, – закостенелость и чопорность; в других – незаконченность, комплексы по поводу внешних данных и, разумеется, вызов и склочность.

У каждого из района солнечного сплетения тянулось нечто, по чистому недоразумению называемое «серебряной» нитью, якобы символизирующей неразрывную связь со Зданием, социальную принадлежность и внутренний мир ее обладателя, но от которой осталось лишь одно завитиеватое, блестяще-драгоценное, а по сути – серо-белое название. Ибо цвет и форму большинства нитей распознать было так же сложно, как и внутренний мир их владельцев, который у многих не отличался ни цветом, ни формой, да и вообще был лишен каких-либо характеристик.

– Спокойствие, господа, спокойствие, – из конца кабинета раздался усталый голос заместителя заведующего отделом лингвистики мадам Литеры, облаченной в строгий брючный костюм. – Я понимаю, что вы недовольны решением Зава, но вы же знаете: нам не к кому апеллировать по поводу циркуляра, спущенного сверху. Это приказ, слышите, приказ.

– Плевать я хотел на такого рода приказы, – пророкотал жирный тип в расползающемся по швам костюме. – Я работаю в отделе с самого начала, а командируют какого-то выскочку. Посмотрите на него, он даже выглядит, простите меня за сравнение, как призрак из отдела игровых автоматов.

– Правильно, правильно, – закричали все. – Где это видано? Он у нас работает без году неделя, а за пределы Здания командируют именно его. Как понимать Зава?

– Кто вообще Зава-то видел? – послышался робкий, чуть надтреснутый, голос.

– Никто. У нас так заведено, никто его не видел, но все его боятся, – громыхнул в ответ жирный тип.

– Родненькие, успокойтесь, – взмолилась мадам Литера, кинув унылый взгляд на подрагивающую прозрачную фигуру с шелковистыми щечками, которой принадлежал потрескивающий голос; из одежды на той был только изумрудный галстук – с перекошенным узлом и плавающей золотой рыбкой на конце. Эфемерная, непрочная «серебряная» нить, связующая фигурку со Зданием, была тонкой и девственно-чистой. – Я прекрасно понимаю ваше негодование. Но на этажах, заметьте, на самом верху, считают, что молодым, именно молодым, следует доверить столь щекотливый вопрос, как выход за пределы… Понимаю, понимаю вас – все вы зарекомендовали себя как отличные служащие, но именно поэтому Здание не может с вами

расстаться. Вы все нужны здесь. Я и сама разделяю ваше любопытство по поводу того, что же на самом деле творится за пределами наших стен, и, поверьте мне на слово, что, будь на то моя воля, я бы с удовольствием откомандировала кого-нибудь из старейших преданнейших служащих… Но посудите сами, сколько раз мы отправляли заслуженных и награжденных деятелей нашего отдела за стены Здания, и сколько раз они, докладывая о жизни Там, рассказывали нам о небылицах, в кои просто сложно поверить! Как понимать, например, доклад достопочтенного, ликвидированного в прошлом году, извините, имя забыла, что якобы Там, у Них, из Зданий уходят на ночь в другие маленькие Здания, что будто бы по достижении зрелости новоиспеченные «Граждане» – ну и слово! – занимаются не тем, что предписывают Породившие Их, но – только послушайте! – тем, чем Они сами хотят заниматься! Более того, Они, по докладу достопочтенного, развиваются, как он выразился, лишь внешне, что же касается Их внутреннего мира, то он заложен в Них изначально и не столько меняется, сколько вызревает.

– А что такое «внутренний мир» и «изначально»? – вяло поинтересовался кто-то.

– Если бы мы могли ответить на этот вопрос, то отпала бы надобность во всех других, – подал голос прозрачный субъект в изумрудном галстуке, но на него зашикали, и он подавленно замолчал.

– Достопочтенный был сумасшедшим! Вы не того отправили, – выкрикнул некто из дальнего угла комнаты.

– Мы многих отправляли, – сурово отрезала мадам Литера, – но от этого мало что изменилось, ибо все их доклады пестрят фантасмагорией и откровенным бредом. Как, к примеру, понимать доклад уважаемого, простите, *не осталось в памяти данных,* что, находясь за пределами Здания, он в то же время не покидал своего кабинета? И якобы далеко не все работают в Зданиях, но некоторые трудятся за Их пределами, а Кое-кто так и вовсе, как это… – Литера покопалась в бумагах и процитировала: – «иждивенничают, паразитируют и тунеядствуют». И будто Многие не знают языка своих соседей, а зачастую и своего, и часто Здания строятся только лишь на Одного или Двух, Которые, видите ли, отдыхают там…

– Гиль[3] и паноптикум. В Зданиях работают! – возопил субъект без лица.

– Это еще не всё, – продолжала мадам Литера. – Некоторые, чьих имен я не упомню, утверждали, что вроде бы Там – в Зданиях – много-много Окон, и что самое невероятное, мы – это Они в миниатюре, более того, вы только послушайте, – Они нас создали! Как вам такой поворот в Миро-Здании?

В кабинете раздались возгласы: «Этого не может быть!», «Что за чушь?!», «Ликвидировать!»

– Знать бы кого, – вновь произнес прозрачный субъект, но был награжден неодобрительным взглядом мадам Литеры и быстро отвел глаза с длинными ресницами в сторону.

– Но да будет вам известно, что многие возвращались Оттуда настолько обескураженными, что нам ничего не оставалось, как сдать их в архив, а с некоторыми мы поступили, я бы сказала, достаточно радикально…

– Утиль? – послышались бодрые голоса.

Мадам Литера нехотя кивнула.

– У нас просто не было другого выхода. Вернулись они весьма… м-м… необычными – ни на что не реагировали. Когда я давала им указания, они только посмеивались и говорили: «А вы уверены, что именно вы руководите нами, а мадам?.. Уверены? А что вами, вот сейчас, вот в данную минуту, никто, а?» Естественно, таких вольностей мы не могли допустить. А уж когда и остальные встали на защиту Альбиноса и принялись доказывать, что он тут ни при чем, что он такая же марионетка, как мы все, и что наше существование настолько зыбко, что

[3] Гиль *(устар.)* – вздор, чепуха.

лучше вообще забыть о нем, и что даже командировки на самом деле спрогнозированы Оттуда, то, сами понимаете…

– Прекрасно, прекрасно, но почему всё-таки Флёр?

– Дело в том, что он, – мадам Литера кинула полный деланного сочувствия взгляд на обладателя изумрудного галстука, – во-первых, молод и энергичен, во-вторых, что немаловажно, абсолютно, как вы видите, не сформирован, а в-третьих, приказ есть приказ, и не нам его обсуждать! – резюмировала она.

– Но он неопытен, – раздалось из пыльного угла.

– Это его плюс, – безапелляционным тоном заявила мадам. – Не знаю, уполномочена ли я разглашать конфиденциальную информацию, но считаю, что я просто не имею права никого обманывать. Сверху пришли к выводу: в Здании велась неправильная политика в отношении командируемых. Мы высылали исключительно сформировавшихся сотрудников, что и привело нас к плачевным результатам. Из Здания они выходили, по-видимому, уже с устоявшимися взглядами и привычками; что же касается нашего добровольца… вы у нас доброволец? – обратилась она к Флёру, который, увлеченный изумрудным галстуком, нежно приговаривал: «Сейчас я тебя, Томми-Тимошка, покормлю. Проголодалась рыбка. Не пищи, не пищи ты так». Он нажал на узел галстука, и резкий писк прекратился.

– Я к вам обращаюсь, Флёр. Вы – доброволец? – повысив голос, произнесла Литера.

– А в нашем Здании возможно иначе? – спросил тот, и его прозрачная фигура повернулась к мадам.

– Конечно, нет, – поразилась она, вскинув брови-скрепки вверх, и обратилась к остальным: – Вы сами видите по его вопросу, насколько он еще наивен и неопытен, а в нашем случае наивность и неопытность – самое большое подспорье. Только так, с Флёром… мы сможем получить точную картину того, что же на самом деле происходит за стенами Здания.

– Это еще почему? – в кабинете зашевелились.

– В нем нет нас, – медленно, растягивая слова, протянула мадам. – А значит, он свободен от многих заблуждений. Не забывайте, предыдущие кандидаты, выходившие за пределы Здания, привносили Туда уже готовую идею, обретенную здесь. У них, как бы это выразиться, была тенденция видеть Запредел глазами нашего Здания… Поэтому было решено делегировать Флёра…

– Делегировали дегенерата, нечего сказать! – грянули завистливые голоса. – Денно и нощно вкалываешь тут, вкалываешь, а как в командировку, так морду – гребнем, пальцы – кукишем!

– Успокойтесь, миленькие, – взмолилась мадам Литера, вытаскивая из дерматиновой папки чистый лист бумаги. – Точно никто не может сказать, есть ли жизнь за Зданием…

– Это что ж получается, вы еще и не уверены в существовании ЗаЗдания? – загоношился Флёр.

В кабинете воцарилось гробовое молчание. Тишину нарушила сама Литера.

– В том-то и дело, дорогуша. Из присутствующих никто и никогда Его стен не покидал, остальные же кто в архиве, кто в утиле, поэтому…

– Подождите-ка, но если я вернусь, где гарантия того, что вы меня…

– Никакой. Никакой гарантии. Это – приказ, – отрубила мадам. – И вообще, ваша личностная задача – не столько доложить о том, что Там у Них происходит, сколько вернуться в здравом уме и не попасть в архив… а то и… сами понимаете, куда.

– Но если мой доклад не будет отличаться от предыдущих?

– Он должен отличаться.

– Постойте, постойте. А вдруг…

– Никаких «вдруг»! – быстро покрывая лист бумаги мелким текстом, откликнулась мадам.

– Вы меня перебили, я не закончил. Вдруг Запредела на самом деле нет? Куда же я тогда направляюсь? Если тот, кто докладывал, что, находясь в командировке, вовсе и не выходил из Здания, что если он прав?

– Вполне вероятно, но где гарантия? – в свою очередь съиезуитничала мадам Литера.

– Но и я не смогу представить вам никаких гарантий. Вы хоть сами-то представляете, Куда меня отправляете? – взвился Флёр.

– Главное, не Куда, а Откуда. Мы вас отправляем из Здания. Или у вас есть на этот счет какие-то сомнения?

– Нет, но у меня есть сомнения по поводу того, *Куда* вы меня направляете.

– Вот и развейте их. Отправляйтесь и возвращайтесь.

– Это беспредел! – не выдержав, возмутился Флёр и окинул присутствующих затравленным взглядом. Те отводили глаза в сторону и порывались выйти из кабинета: «Ну, мы, пожалуй, это… пойдем? У вас еще организационные вопросы, надо полагать? У?»

Откашлявшись в жесткий кулачок, мадам Литера возвестила:

– Совещание закрыто. Все свободны. Флёр, останьтесь.

Заседавшие рассосались, кабинет опустел, и мадам пододвинула Флёру листок.

– Распишитесь.

– Что это? – осведомился он.

– Сами поймете.

– Что значит «прошу уволить по собственному желанию»? – Флёр бессмысленно смотрел на прячущую глаза мадам Литеру.

– Понимаете, – издалека начала она, – а вдруг вам Там понравится, и вы не вернетесь, вот мы и решили…

– Я не собираюсь нигде оставаться, я вообще не хочу ни в какую командировку.

– Надо, голубчик, надо. – Мадам Литера поднялась, и ее когтистая рука прошлась по взъерошенным волосам Флёра. Тот поежился. – Я понимаю – не хочется, но политика Здания такова, что наши с вами пожелания не учитываются. А что касается заявления об уходе, так вы не переживайте – вернетесь, я его тотчас порву, а не вернетесь, что ж, тогда и волокиты меньше. Понимаете? Посудите сами, зачем нам эта бумагократия? Подписывайте, подписывайте.

Флёр, глубоко вздохнув, взял протянутую ручку и поставил размашистую подпись.

– Ну, вот и умничка. – Мадам Литера ловким движением сунула лист в папку. – Значит так, вначале зайдете в кутюрный цех – к Стеклографу, там вам костюм приготовят, а то что это вы, в одном галстуке. Встречают-то *по обложке*… – Мадам нарисовала на пыльной поверхности стола острым въедливым пальцем вопросительный знак. – Сами посудите, какое у Них о нас мнение сложится.

– Это в том случае, если Они вообще существуют, – отреагировал Флёр.

Мадам сделала вид, что не заметила реплики и отстраненно посмотрела на селектор, стоящий на столе.

– Далее так: отдел финансов – за суточными… к мадам Фактуре.

– А выходное пособие?

– Перебьетесь, – обозлилась Литера. – Или вы на самом деле решили от нас улизнуть? Вы что, не поняли, я же у вас заявление только на тот случай взяла, если вы не вернетесь.

– Обманывайте, обманывайте, я весь – внимание, – Флёр откинулся на спинку сиденья.

– Бросьте юродствовать, никто вас не собирается обманывать. Вернетесь – я вам сама премию выпишу.

– Заливайте. Какая премия, если вы всех вернувшихся то в архив, то в утиль.

– Всё от вас зависит, – мадам неопределенно пожала клиновидными плечами.

– Продолжайте, мне очень нравится ваш стиль – неправдоподобно, но очень убедительно.

– Вы пререкаться будете или…

– Давайте выкладывайте, что там у вас еще накопилось.

– В каком тоне вы со мной разговариваете, в конце концов?! – не снеся столь явного пренебрежения субординацией, оскорбилась Литера. Но Флёр в ответ лишь хмыкнул. Мадам всё же взяла себя в руки и продолжила: – Потом сделаете прививки от вирусов, так, на всякий случай, а то кто Их знает, чем Они Там болеют… Ах, чуть не забыла – фотографии для выхода из Здания у вас есть?

– Не любитель фикций, я живой симпатичней.

– Живой ли… Вот в чем самый главный вопрос… – как бы про себя проронила мадам Литера. – В общем, я вам объяснила. Вот циркуляр, – она протянула ему документ с *водянистыми* знаками, в котором говорилось об откомандировании Флёра на неопределенный срок за стены Здания. Флёр недружелюбно посмотрел на мадам Литеру и смял циркуляр.

– Что вы делаете? – вскричала она. – Это же документ!

– Бывайте, – бросил он, поднявшись, и вышел из кабинета.

– Не забудьте фотографии, – крикнула ему вслед мадам Литера. – Без них не пройдете таможню.

Стоило двери закрыться, как заместитель заведующего отделом лингвистики, вооружившись многоцветной ручкой, вытащила из ящика стола увесистую, взятую из отдела кадров, папку, открыла ее на букве «Ф», нашла карточку Флёра и подлым бисерным почерком написала: «Уволен по собственному желанию». Затем, дернув неопределенной по цвету и форме «серебряной» нитью, нервно сменила синюю пасту на красную, провела по диагонали сверху вниз кровавую жирную черту и, точно стесняясь содеянного, брезгливо отодвинула папку в сторону.

На пол из папки выпало попавшее туда по чистой случайности донесение одного счастливчика, уволенного «по собственному желанию» в утиль, написанное каким-то жутким, не убористым, а именно *уборным* почерком, который хотелось отдраить от листа половой тряпкой и спустить в отхожее место:

«…доношу до Вашего сведения, что за время пребывания в долгосрочной командировке мной были обнаружены следующие заблуждения служащих относительно тайн Миро-Здания. А именно:

1) Наше Здание не является Зданием в том традиционном смысле, которое принято вкладывать в слово, означающее архитектурно-обособленное сооружение.

2) Всё, находящееся за Его пределами, является Оригиналом по отношению к Нему, в то время как само Здание и Его содержимое представляет собой уменьшенную копию Оригинала.

В подтверждение вышесказанного прилагаю образцы добытых мной за пределами нашего Здания атмосферных осадков, природных ресурсов и экскрементов ряда биологических организмов.

Экспертизой установлено, что *мировые выделения*, имеющие место быть в Здании, совпадают с качественными характеристиками снега, града, дождя и проч., обнаруженных за Ним, однако являются их миниатюрной копией…

Заключение эксперта прилагается…»

Мадам Литера подняла невыносимое по слогу и смыслу донесение с кривобокими буквами, искривленными цифрами и крючковатыми знаками препинания, несколько раз перечитала его, гадливо отшвырнула и подумала, что неплохо бы поинтересоваться судьбой незадачливого эксперта, составившего не попавшее в папку заключение, а заодно натравить на него налоговых палачей, ибо, как известно, у каждого в шкафу пылится скелет с хрупкими позвонками и ломким копчиком.

Мадам нажала кнопку на селекторе, рявкнула: «Свяжите меня с таможней… да-да!!! С таможней, я не ошиблась… и потом с налоговой», – отсоединилась и порвала донесение на мелкие кусочки.

Кутюрный цех

С мыслями о том, что он принадлежит к редкому типу, в котором замысловато переплетаются ирония и наивность, Флёр вошел в лифт и вместе с одним из служащих отдела лингвистики поехал вниз.

– Скажите, Док, а вы Там были? – спросил командируемый своего попутчика.

– Не успел – оставили. Брат был, передайте привет, если увидите, – мрачно бросил Док.

– Передам. А что вы такой понурый? Случилось что? – почувствовав настроение собеседника, вскинулся Флёр, бессмысленно уставившись на «Правила пользования пассажирским лифтом с автоматическим приводом дверей», в которых мило советовалось: «Прежде чем войти в лифт, убедитесь, что кабина находится перед вами».

– Вам интересно знать? – зло ощерился Док.

– Вы опытней меня. – Флёр повел фантомными плечами. – В Системе с самого начала, и…

Но тут створки отворились, и неведомая сила повлекла его вперед.

– Я отвечу вам, я отвечу! – прокричал вслед Док. – Нас не-е-е…

– Подождите, а как я узнаю вашего брата? – спохватился Флёр, но в этот момент лифт, лязгнув железными челюстями, захлопнулся и ухнул вниз. Из шахты раздался приглушенный голос Дока:

– Узнаете… Он в архиве… Мы *однофайловые* близнецы…

– Какие, какие?! – сложив ладони ракушкой и прижавшись к щели лифта, крикнул командируемый, но ответа не разобрал и направился в кутюрный цех, думая об абсурдности инструкции, увиденной в лифте, которую можно было прочитать только при одном условии – войдя внутрь кабины…

В кутюрном пахло краской и лаком. У Окна напротив лифта прохаживались двое типов. Они задумчиво курили трубки и тихо переговаривались.

– Молоток у нас Стеклограф, просто молоток! Такую картину изобразить, а краски, краски! – воскликнул худой тип с острой «серебряной» нитью и циркульными ножками, облаченными в стальные узкие джинсы.

– Дадаизм[4] это, вот что: бессмысленное смешение красок и форм, – бросил собеседник в широких трузерах на зиппере, с транспортирно выпирающим животом из-под куцей бобочки. «Серебряная» нить у него была в постоянном движении. С амплитудой от нуля до 180 градусов.

– А мне нравится, я ничего подобного не видел. Гениально!

– Червоточина от бездарности, не более… – «Серебряная» нить у него стала возмущенной – перпендикулярной животу. – Это, по-вашему, что такое? Ветвистое и длинное. С зелеными плоскостями.

– Так ли это важно, зато красиво… Собственно, если не ошибаюсь, это липа.

– Вот именно, липа. Или вот: что это вверху – на голубом фоне маячит?

– Бесподобно… Пушистое, сахарное… Облака…

– Бросьте, в самом деле. Скажите еще: взбитые сливки, суфле с бисквитом и зефир, – передернулся собеседник. – Вы просто попали под харизму Стеклографа. А на самом деле он всего-навсего бесталанный костюмеришка.

– Зато каков прорыв, каковы новации, какое чувство красок… – будто не слыша, восхищался худосочный. – А дизайн!

---

[4] Дадаизм (*франц.* dadaÏsme, от dada – бессвязный детский лепет) – авангардистское направление в западноевропейском, преимущественно французском и немецком искусстве (1916 – 1922), выражавшееся в иррационализме, нигилистическом антиэстетизме, своеобразном художественном эпатаже.

– Ой, я вас умоляю… Думаете, это он всё создал?

– Больше в Здании некому.

– А что, если это Оттуда всё, а не от нас?

– Возможно ли такое?

– Послушайте, а вас интересовало когда-нибудь, из какого источника всё это проистекает?

– А так ли это существенно? Есть, и это потрясающе. Дух захватывает.

– Но вы согласны, что Стеклограф тут ни при чем? – не унимался толстокожий.

– В Здании считают, что это его произведение. А плагиат это или оригинал, фотообои или реальность, честно говоря, меня не интересует. Нет, вы только посмотрите, полетело что-то. Ух ты! С крылышками и длинным носом. Блестит и волнуется. Видели? – тонкий тип указал на пронзительно граявшую взъерошенную ворону за Окном.

– Фотообойная…

– Чудесно, чудесно! Выдумка, высвобождение, виртуозность…

– Эк, заладили вы… Говорю вам: бездарь, вор и портняжка…

– Неважно, неважно… Потрясающе, непревзойденно, восхитительно…

– Смотрите, смотрите – Альбинос…

– Где, где? Не вижу.

– Да вы не в ту сторону смотрите, он вглубь побежал.

– Ах, жалость, какая. Я так на него посмотреть хотел.

– Травануть бы его, гада. Заметили, как в отделе эта тварь появляется, у нас сразу пертурбации происходят…

– Жить начинаем.

– Функционировать, скорее. Перемещения какие-то, смена кадров…

– Это и есть жизнь, по-моему.

– Эх, а вы еще красками восхищались…

Вдруг на Окно упала огромная тень, и обладатели «серебряных» нитей испуганно отпрянули.

– Что это было? – заикаясь, спросил худой, вытянув руку вперед.

– Они… – сплюнул толстый. – Впрочем, не настаиваю.

– О-о… – ужаснулся собеседник. – О-о… Не может быть.

Тень пропала. Флёр, увидев не верящих собственным глазам типов, направился в их сторону:

– Простите, как в костюмерную к мастеру пройти?

– К стеклянному графу, что ль? А вы по кляксам идите… Видите красненькие разводы? Они прямо к нему ведут, – съязвил злопыхатель в широких штанах, окинув командируемого с ног до головы оценивающим взглядом. Мысли оставил при себе.

– Спасибо, – поблагодарил Флёр и зашлепал по оставленным неаккуратными малярами кляксам.

Но в это время сзади него раздались фистульные хихиканья. Флёр развернулся и увидел целый набор тонконогих фломастеров с высохшими «серебряными» нитями. Были они крайне странными. Держали в руках *промокашки*, отрывали от них кусочки и прятали под колпачки. Половую принадлежность фломастеров определить было невозможно.

– Эй! Подиумные мощи, – раздался истеричный голос, и за фломастерами появился рыхлый широкоскулый Маркер с ультрамариновым колпачком на голове и вялой не-«серебряной» нитью. Левая бровь выщипана, правая – выкрашена в разноцветные вертикальные полоски. Один бакенбард жиденький и всклокоченный, другой, вероятно, не вырос из-за гормональной недостаточности. Тип был в неимоверно лазурной юбке и сапфировых сапожках. На рюшках

юбки красовались инициалы «Б.М.», что означало «Большой Маркер». Судя по всему, он страдал хронической формой заболевания, именуемого «тщеславие гипертрофированное».

– На выход! И еще раз увижу эти витамины, пойдете прет-а-порте кутюрить не на подиум, а на панель. «Ню»-нюшки показывать…

Колпачки фломастеров быстро скрылись за какой-то ширмой.

Маркер поманил командируемого пальцем.

– Почему голенький? Модель? – Он сделал шажок вперед, и его голос мгновенно подобрел.

– Флёр.

– Сценическое имя? – Маркер кокетливо сдвинул колпачок в сторону, из-под которого выбилась копна крашеных волос, облепив улиткообразное ухо. Он с любовью намотал на пальчик мелированный локон, попытался запеть, но из глотки выползла настолько нечленораздельная и пошлая какофония, что ему стало стыдно за содеянное, он сбился и покрылся *синявцем*.

– Призвание, – поморщившись, ответил Флёр.

– Что за костюмчик? Стеклограф скроил? – Маркер пришел в себя, указал на галстук и трепетно задышал в нежную раковинку уха командируемого. – Что делаем вечером? – не дожидаясь ответа, прихватил пальцами с бирюзовым лаком галстук визави и притянул его к себе. – Какова рыбешка, хвостиком виль-виль, – прогундосил он, и сложно было понять, к кому это относилось – к Тимошке или к Флёру.

– Извините, у меня командировка, спешу. – Флёр аккуратно вытянул галстук из наманикюренных пальчиков Маркера.

Тот отпрянул.

– Ну дашки, ну дашки… – обиженно проворчал Маркер. – Жаль, а такой сладенький, такой мордатенький, и на тебе… невежливый… Дай-ка я тебя напоследок приголублю, – с этими словами он метнулся вперед, прильнул к Флёру плохо выбритой репейной моськой, смачно чмокнул его в щеку и исчез за ширмой.

Командируемый быстро побежал по коридору, на ходу вытирая след от мерзко-синей губной помады. Перед последним маслянистым разводом остановился, посмотрел на табличку кабинета, гласящую, что за дверями находится «Магистр изобразительных искусств кутюрье Стеклограф». Дверь внезапно с шумом распахнулась, и Флёр был втянут за изумрудный галстук внутрь кабинета.

– Осторожно вы! – возмутился командируемый, поправляя галстук. – Тимошку задушите.

– Докладывали, докладывали, – не извинившись, проскрипел субъект в бордово-свекольном вельветовом пиджаке, расклешенных брюках цвета квашеной капусты с душком, в сандалиях на босу ногу и мятой клетчатой рубашке, украшенной разноцветными пятнами. В руке он держал беличьи кисти, с которых стекала краска. Из нагрудного кармашка выглядывали цветные карандаши. Был он бородатым, истощенным и близоруким. Очки со сломанной левой дужкой съехали на кончик носа. Волосы на голове стягивала махрушка: длинная слоистая коса доходила до поясницы. Борода от красок слиплась. За ухом торчал мягкий темно-красный карандаш – сангина. Шея была замотана – ангина.

– Болеем, – пояснил субчик, потрогав марлевый компресс. – Имею честь представиться, Стеклограф. Хабилитированный[5]… Флёр, если не ошибаюсь?

– Быстро же у нас информация распространяется, – удивился командируемый, пожимая сухую желто-коричневую ладонь.

---

[5] Хабилитация (или габилитация, habilitation, от *лат.* habilis – способный, пригодный) – процедура, которая следует после присуждения второй, докторской степени. Принята в европейской континентальной академической системе, многие особенности которой были позаимствованы российской системой послевузовского образования.

– Присаживайтесь, – пригласил Стеклограф, указав на пол.

– Я постою. Собственно, мне костюм нужен. Командируют.

– Будет, будет. Сейчас дорисую только. Пару штришков, мазков, акварелек, и всё будет в ажуре. – Стеклограф направился к мольберту с натянутым холстом, на котором был выписан серый двубортный пиджак и бурые брюки со стрелкой. – Я полагаю, вам галстук не нужен? Исподнее только и рубашечка? Оранжевая? Как вам?

– Вы мастер вкуса, не я, – хмыкнул Флёр.

– Бикини, семейные, с лепестком? – продолжал Стеклограф.

– Какая разница. Под брюками всё равно не видно.

– Ладно, разберемся. – Стеклограф макнул кисть в бороду. – А, чтоб меня стерли с лица Здания, оранж закончился. Подайте мне тюбик с краской, пожалуйста, вы около него стоите.

Флёр нагнулся, поднял тюбик и протянул магистру. Тот выдавил краску на бороду, мазнул кистью и принялся творить.

– А маечку-футболочку какую пожелаем? Рукавчики? Безрукавчики? С орнаментом? Гладенькую?

– С орнаментом, – интонируя-иронизируя, отозвался Флёр.

– Каким?

Командируемый задумался.

– Ну, может, окошечки такие летающие. И надпись сделайте: «Смерть стекольщикам». Не люблю Окна.

– Зачем вам? – недоуменно спросил Стеклограф. – Тем более, сами понимаете, под рубашкой видно не будет.

– Спокойней мне так, спокойней, – усмехнулся командируемый.

– Не любите вы нас гениев, понимаю… Серость – она завистлива, – хрипнул Стеклограф, принимаясь за манжет рубашки.

Флёр решил не вступать в перепалку и занялся осмотром мастерской.

На полу в беспорядке валялись тюбики, карандашные огрызки и стружки, точилки, перочинные ножи, ножницы, банки с клеем, кисти из барсучьего ворса, груда мятой испачканной бумаги, нитки всевозможных оттенков – от индиго до пурпура, несколько наперстков, пастельные мелки, грязные сохлые кисточки, измазанные гуашью и акварелью, пыльные рулоны, куски ваты, распластанные тельца рваной ветоши и ошметки мануфактуры. В дальнем углу находился трельяж с лакированным столиком, на котором были раскиданы дамские принадлежности. Парики от сивого старческого до цыплячье-пушистого младенческого, пудреницы, губные помады и тушь, – всё это *болело* в единой косметической дурно пахнущей массе. В углу около двери возвышались перекошенный манекен с головой набекрень, подмигивающе-подбитым глазом цвета маренго и вывернутыми руками, а также поломанный этюдничек, под которым невозмутимо полеживал любимый альбом Стеклографа – детский, раскраска, с потрепанными углами и в ярких разводах. Формат А4. Рядом с ним лежала коробка, на которой значилось: «Краски гуашевые для детского творчества. Кроющие, укрывистые, водоразбавляемые. 12 цветов в баночках емкостью 16 мл. Белила цинковые, лимонная, рубиновая, охра…»

Около мольберта, за которым творил хабилитированный бездарь, стоял механический «Singer» с педалью – швейная машинка напоминала коня с перебитым хребтом. Под ней валялась стальная подошва, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся утюгом, и ледериновая папка с торосами и оползнями-выползнями каких-то убогих, леденящих душу не то пейзажей, не то абстракций, не то интеллектуальных абсурдий. Командируемый потянулся к рисункам, заметив краем глаза тщеславную улыбку Стеклографа.

Одна из выплюнувшихся картин представляла собой ватман в сизых тонах, на котором были изображены две барахтающиеся в сугробе ноги. Голова и прочие части тела отсутствовали. Стеклограф почему-то окрестил картину как «Переворот в искусстве», хотя ей больше

подошло бы название «Обморок». За ней следовали еще несколько плевков-шедевров. «Озарение» – не то снежинка, не то расплющенная каракатица во весь ватман – мазня, которую уместней было бы назвать «Кома творчества», и чистый ватман с маленькой перезревшей горошиной в правом верхнем углу, отдаленно напоминавшей раскрытый рот без зубов. Величался шедевр скромно: «Крик гения». Видимо, точка символизировала гения, а ватманская пустота – крик. Или наоборот. Четвертая, без сомнений, изображала рифленый каблук, но называлась весьма странно: «Инфузория-туфелька. Здание есть тетрадь одноклеточных». За «одноклеточными» шла сумбурная надпись – перечеркнутая, но не так, чтобы ее совсем нельзя было прочесть. Стеклограф, вероятно, тешил себя надеждой, что ее заметят, поэтому старался черкать не столько по словам, сколько поверх них, отчего получилась рамка. Корявая во всех смыслах надпись гласила: «Рождение нас из ног вас». И подпись: «Многоклеточный».

– Уютно у вас тут, – выдохнул Флёр, насилу оторвавшись от безмолвного вопля гения и бросив папку на прежнее место. – Творческий *криз*?

Стеклограф повернулся к нему в пол-оборота, прищурился и прошамкал:

– Будете умничать, я вам на лацкан пятно посажу. И выгуляйте свою рыбку – подохнет, не ровен час.

Командируемый нажал на узел галстука, и пронзительный писк прекратился.

– Скажите, а вы кто, художник или всё-таки портной?

– Макияжник я, – отрезал Стеклограф. – Творец я, понимаете, тво-рец! На все руки… Если хотите знать, я всё могу – и грим, и костюм, и граффити.

– Одинаково плохо? – съязвил Флёр.

– Вот не было б циркуляра, я б вам показал, – обозлился Стеклограф, вооружившись фиолетовым карандашом. Принялся рисовать пуговки на пиджаке. – Между прочим, я в кутюрном единственный такой – на все руки.

– А вы не пробовали специализироваться на чем-то отдельно?

– Гениям это не обязательно, на то они и гении – делают, что хотят… Я вам так скажу, гений от таланта отличается тем, что талант делает то, что может, а гений – то, что хочет.

– Вы что ж, себя еще и гением считаете?

– А как же иначе? – искренне удивился Стеклограф, заканчивая рисовать правую брючину, которая была намного короче левой. Манжеты рубашки тоже оставляли желать лучшего: один был увенчан запонкой, другой – крючком с петелькой. Из пуговиц на пиджаке Стеклограф сумел выкруглить только одну. И то с трудом.

– Между прочим, каждый считает себя мольбертом с палитрой красок, – самовлюбленно заметил Стеклограф.

– Ага, размазней такой гуашной, – подло добавил Флёр.

– Это уж вы загнули. Сами на призрак похожи, а туда же – философствовать, – парировал Стеклограф.

– Лучше быть философствующим призраком, чем умствующим бездарем.

– На что это вы намекаете? – Стеклограф изобразил на лице выражение, присущее непризнанным гениям: смесь инфантильности и амбиций одновременно.

– На то, собственно, что вас из стороны в сторону кидает, как акварель по листу, а в итоге вместо костюма авангардная заумь получается – «туман в тумане при выходе из тумана». Сами посудите, вы еще пиджак не дорисовали, а уже за штаны принялись. Я уж о рубашке не говорю. А цветовая гамма? А линия? У вас в роду дальтоников не было?

– Дальтоники только на таможне, – не к месту вставил Стеклограф.

– М-да… И после всего этого вас еще считают создателем Окна…

– Серьезно? – Стеклограф затаил дыхание. – Нет, в самом деле?

– Теперь точно видно, что это не ваше произведение.

– Нет, а что? – Стеклограф подбоченился и упер кисть в бок. На вельвете пиджака остался изумительный развод, напоминающий раздавленного паука.

– О, вы еще и плагиатор. Стыдно должно быть, – устыдил его Флёр. – Скоро там костюм мой? Или, может, мне лучше так – в загранку?

– А вот зря вы, зря… – обиделся Стеклограф. – Костюмчик шик-модерн будет. По последнему писку. Вы ж не знаете, что Они Там носят.

– Ну-ка, поделитесь, вам-то откуда известно о моде у Них? Вы что, из Здания выходили?

– Я – художник! Make-up'щик, если хотите знать! Нет ничего горже, простите – гордее, чем называться make-up'щиком в наши дни! – вдруг истошно заверещал Стеклограф, бросил кисть и нервно заметался по творческой мастерской, то и дело наступая на разбросанные тюбики, которые выстреливали яркими густыми красками и походили в этот момент на растоптанных гусениц. – Мне все уровни подвластны. Астральные путешествия. Лепестки чакр. Цвета ауры. Да если хотите знать, мы с вами вообще не существуем! Мы лишь Их мыслеформы, отображенные на листе бумаги. А Они, Они – о боги!.. – На волосатом лице появились вкрапления имбецильности.

Флёр напрягся.

– Вы, небось, думаете, что это вас мадам Литера откомандировала? Фосфор вам на одно место, вот что! И не могу я вам скроить то, что вашей душе угодно, потому что то, что вы желаете надеть, есть лишь иллюзия формы. Вот, полюбуйтесь. – Стеклограф подбежал к встроенному в стену шкафу и раздвинул створки. На плечиках висели костюмы и платья, отливавшие всеми цветами радуги. Он принялся срывать одежду с вешалок и швырять на пол. – Вы полагаете, что это материя?! Ни черта подобного. Фантом это! Призрак! Деним, бомулд, вельвет, коттон? Ха-ха! Да ведомо ли вам, что, когда вы отсюда выйдете, то превратитесь – даже не знаю, как вам сказать, – в набор букв и цифр – вот! Что расползетесь вы по листу черными чернильными закорючками и ничего-то вы не увидите, потому что материя, ха-ха, пресловутая ваша материя, так изменится, такую примет форму, что и не рады вы будете вашей загранпоездке! Не рады, не рады! Жизнь для нас – только в Здании! За Ним – смерть! – Стеклограф безвольно опустился на пол и залился разноцветными слезами. Из глаз вытекали тушь, гуашь и акварель. Он шмыгал носом и плакал навзрыд. Марлевый компресс съехал набок.

– Нет никого! Никого нет!.. – причитал Стеклограф, утираясь вельветовым рукавом.

Флёр поднялся.

– Где-то я подобное уже слышал. Но, послушайте, – ему вдруг стало жаль этого сумасшедшего художника-кутюрье-make-up'щика, – мы же…

– Мы?! Мы?! – перебив Флёра, взвыл Стеклограф и забился в истерике. – Да наше право на жизнь грифеля ломаного не стоит!.. Всё это подергивание ниточек!

Только тут Флёр заметил, что у Стеклографа в районе пупка находится «серебряная» фосфоресцирующая нить, по форме напоминающая кисточку-торчун. Стеклограф поймал взгляд командируемого и, будто читая его мысли, гаркнул:

– И стоит ее порвать, как всё – нам конец! – И попытался рвануть «серебряную» нить. Но рука отчего-то, словно через неосязаемый луч, прошла насквозь, нисколько ее не повредив. – Кошмар… Никакого права выбора. – Стеклограф поднялся и, всхлипывая, подошел к треножнику с мольбертом. Снял с него костюм, вытер слезы и произнес: – Облачайтесь.

– Позвольте, но у него же нет, как бы это точнее выразиться, тыла, что ли…

– Натягивайте, натягивайте, – трагически молвил Стеклограф, истекая краской. – Там вам и фронтон не понадобится. Собственно, ладно. – Он перенес костюм на холст, перевернул и заляпал беспорядочными мазками.

– А майка с орнаментом, а лепесток?

– Всё внутри. Одевать сразу. Вливайтесь, – вновь сняв костюм с холста, велел Стеклограф.

Флёр взмыл, съежился и просочился в воротничок рубашки.

– Тогда зачем всё это? – оторопел он, повязывая галстук с рыбкой.

– Циркуляры не обсуждаются, циркуляры исполняются. Дайте-ка я вам обувку нарисую. – Стеклограф вытащил из нагрудного кармашка пиджака цветные карандаши, нарисовал на прозрачной щиколотке носки, на ступне – подошву, а на подъеме – шнурки. Остаток ноги заретушировал малиновым. Затем взял двойной флакон с лимонным одеколоном в одной части и лаком-закрепителем в другой, нажал несколько раз на сдвоенный пульверизатор и обшикал Флёра с ног до головы. Развернув пульверизатор одеколонной клизмочкой, прыснул себе в рот.

– Для куражу, – всхлипывая, пояснил он и отошел в сторону. С сомнением посмотрел на правую брючину, вернулся и просто вытянул ее руками. Критически оглядел Флёра. – Не жмут штиблетики?

– Смеетесь, что ли? Как они жать-то могут? А вот костюмчик…

– В плечиках? Так я и думал.

Флёр утвердительно кивнул. Стеклограф подхватил сантиметр, взял иглу, наперсток, измерил и вновь *прослезил*:

– Ничем не могу помочь. Извините, у меня серый колер закончился.

– Слушайте, может, я – голым?

– Циркуляр. Не забывайте. Ну… прощайте… – Стеклограф затрясся в новом припадке. Флёр попытался его успокоить, положил руку на плечо, и тут творец-сумасброд, наподобие сломанного треножника, развалился, из костюма выпали карандаши с маркировкой «6М», борода Стеклографа сочной баклажанной мякотью упала к ногам командируемого, лицо вытекло, одежда винегретно расползлась по полу, «серебряная» нить замерцала и исчезла. Гений, даже не возопив, растворился.

Флёр испуганно побежал к двери. Но ее уже не было, как не стало и самого этажа с фланирующими курящими трубки и выдувающими пустые кольца идей декорат-дизайнерами, с дурно одетыми костюмерами, с размалеванными макияжниками, наборами сохлых моделей и прочими make-up'щиками всех мастей и расцветок.

– Весь цех ликвидировали, надо же, – вслух произнес Флёр и полетел куда-то вниз, не ощущая того удивительного факта, что костюм сидел на нем как влитой и даже перестал жать в плечах.

Командируемый небольно шлепнулся о скользкий пол, отряхнулся, оправил «последний писк» и оглянулся по сторонам.

Мадам Фактура

По этажу сновали типы, удивительно похожие на канцелярские принадлежности. Тела многих напоминали металлические скрепки, лица – расплющенные кнопки, их чеканный шаг издавал звук работающего дырокола. В общей массе заметно выделялись потрепанные особи – разлинованные тетради одиннадцатого формата в картонных обложках с прошитым корешком, – они передвигались медленно, с достоинством, точно в них таилась сокровенная информация, доступная только посвященным.

Тут и там, между перевернутых стульев плавали лебеди. Флёр присмотрелся – это оказались цифры «4» и «2».

На этаже пахло клеем, вытекшими батарейками, календарным годом, сокрытием доходов, просроченными платежами и уголовной ответственностью – этаж принадлежал финансовому отделу.

– Вы из налоговой?

К стоящему около лифта командируемому подбежал колченогий типчик с пронырливым личиком, бегающими глазками и дохлой «серебряной» нитью, по которой, точно блохи, прыгали ополоумевшие цифры. Был он в сером костюме со смоляными нарукавниками. В маленьких, слегка влажных суетливых ручках он держал глубокие чаши. В левой покоились тонкий конверт, бонбоньерка с подарочными конфетами и золотой «Montblanc» в дорогом футляре; в правой – груда квитанций, приходно-расходных ордерков, учетная тетрадь и желтая потрепанная бумажка – заключение аудитора. Флёр с интересом посмотрел на левую чашу, которая перевешивала правую.

– Считаете, недостаточно? – испуганно спросил типчик, и конверт на левой чаше стал расти, будто на дрожжах. – Хватит? – заискивающим бархатистым тенорком поинтересовался он. Левая чаша прибила его к полу, и типчик стал напоминать сломанные весы.

– Пожалуй, – ответил командируемый, не понимая, что от него хотят. – Простите, а как мне к мадам Фактуре пройти?

– Ну, зачем вам? Зачем? – затараторил типчик. – Сразу вот так вот… Может, еще договоримся?..

– А вы, собственно, кто будете?

– С вашего позволения, Баланс, замзав, – выпрямляясь, представился тот.

– Квартальный? – пошутил Флёр.

– Что вы, что вы, – Баланс замахал чашами и чуть было снова не завалился на левый бок. – За год… Календарный я… Так, может, все-таки договоримся? – тихо и слегка неуверенно вопросил он. – Конфетки… Коньячок… Кофеек… Ну, я там не знаю, премиальные… – Баланс недвусмысленно посмотрел на левую чашу, и его глазки забегали, как цифры на сломанном калькуляторе.

– Мне кажется, вы меня не за того принимаете, – пробормотал Флёр, и его брови, точно грифельные палочки, удивленно преломились.

– Как же, как же… Костюмчик, галстук, туфельки. Налоговый вы… Кофейнем? – источая мед, предложил Баланс.

– После, – пообещал командируемый. – Мне вначале к мадам Фактуре надо.

– Ну что вы заладили, в самом деле… Сразу к заву. Может, что не так? Может, вы с ликером конфеты не любите, так я мигом. – Он стрельнул глазами, и бонбоньерка превратилась в россыпь трюфелей в конусовидных распашонках. – А хотите, могу ананасовых, грильяжа, миндальных… безе – поцелуй яичных белков и сахара, так сказать, – сострил Баланс.

– Конверт испортите, – ухмыляясь, ответил Флёр, посторонившись. Створки лифта открылись, и из него выползло крысовидное существо с папкой под мышкой, в безликой потертой хламиде – не то костюм, не то платье.

Особь была бесполой, с востреньким личиком, шныряющим алчным взглядом и кривляющимися тонкими губами. Складывалось впечатление, что по лицу провели лезвием. «Серебряная» нить особи была безвкусно инкрустирована драгоценными камнями вперемешку с искусственными. В некоторых местах смущенно ерзала пластмасса.

– Прошу прощения, – проскрежетало существо. – Это финансовый отдел?

– Да, да, – нервно бросил Баланс. – Так как? – обратился он к Флёру.

– А позвольте узнать… – начало было существо.

– Не позволю! Что вам угодно? – высокомерно произнес Баланс. – Не видите, у нас разговор?

– Нет, я просто… – существо поковырялось в папке. – Мне уважаемый Баллон нужен.

– Нет у нас таких, – резко ответил тот. – Посторонитесь, не загораживайте проход. За существом показались два полных субъекта в казенных костюмах, очень напоминавшие наручники. Их «серебряные» нити нежно отливали сталью.

– Как конфетами пахнет, – мечтательно протянуло существо, покосившись на левую чашу.

– Не вам, не вам, – Баланс хищно одернул руку и спрятал за спиной. – Проходите, не мешайте разговаривать.

– Нет, простите… *Там* уже дали… – существо взглянуло на бланк и зашуршало бумагами.

– Да проходите же вы! – не выдержав, заорал Баланс.

– Вот, – не реагируя на крик, процедило сквозь редкие зубы бесполое. – Точно, оно.

– Идите прочь! – рявкнул Баланс.

– Да, именно… Постановление на обыск. Изъятие документации с последующим превентивным задержанием в зависимости от результатов… Ваша фамилия? Обозначьтесь, – существо уставилось на командируемого бездушным взглядом.

– Флёр. Из отдела лингвистики, – промямлил тот, покрываясь испариной.

Существо пробежало бесцветными глазками по постановлению и выщелкнуло:

– Жаль, не значитесь. Свободны. Волеизъявляйтесь, как пожелаете. А вы? – Глазки существа линчующе впились в Баланса.

– Отдел финансов, – гордо возгласил тот, но в душе его зародились странные предчувствия. – Чем могу?..

– Фамилия?

– Баланс – замзав отдела, – неожиданно для себя отрапортовал он.

– Вы документацией ведаете? – Существо приблизило к Балансу лицо цвета вареного лука и смрадно дыхнуло.

– С кем имею честь? – вскинулся обладатель вертлявых *рукочаш*, провожая пламенным взглядом ускользающего Флёра. – На каком основании? Может, соизволите представиться?

– Фискало. Из налоговой мы, – голосом, напоминающим мелодичную трель лобзика, ответило существо с хищным мошенническим блеском в глазах. Услышав эти слова, Баланс выпрямился по стойке смирно. Чаши весов выровнялись, голова дернулась, ножки шаркнули. Единственное, что выдавало его душевное состояние, были всполошившиеся *цифроблохи* на «серебряной» нити, в резких и неуклюжих скачках которых проглядывала паника.

– Ой, а мы-то уж ждали вас, ждали… – заюлил он. – Что ж вы так? Угощайтесь, с дорогито… – И заботливо пододвинул к существу левую чашу.

– Предпочитаю с ликером. Трюфели ненавижу, грибные какие-то конфеты, – шамкнуло существо, ринувшись к правой чаше. Обнажив фарфоровые зубки, радостно залыбилось. Передний верхний резец нагло выпирал из пасти – показалась платиновая фикса с маленькой

скромной бриллиантовой горошиной, влепленной в металл. *Цифроблохи* вмиг перестали подпрыгивать и, казалось, затаили дыхание.

– Повременим, может? Не надо, а?.. – вдруг заголосил Баланс и попытался завалиться, симулируя апоплексический удар. Но упасть ему не дали. Субъекты, напоминавшие наручники, подхватили его под *рукочаши*, встряхнули и ласково так, с прихлебом в голосе, прошептали:

– Надо, милейший, надо… Раньше сядешь – раньше выйдешь. Поговорим?..

И втащили его в лифт. *Рукочаши* в какой-то момент протестующе взметнулись вверх, но под стальной хваткой субъектов беспомощно обмякли.

Конверт подозрительно набухал. Трюфели скинули рубашки и деликатно спрятались в шоколадной темноте сафьяновой бонбоньерки. На коробке золотом проступило: «Assorti». В букве «о» заискрило алмазом. Запахло помадно-фруктовой и сливочно-морковной начинками. Пастила, нуга, вишня с ликером, птичье молоко, миндаль в сахаре, глазурованный орех, белый шоколад – «Сортировщик Баланс».

В коридоре мелькнула белая шкурка Альбиноса и юркнула под какую-то дверь. Флёр подошел к створке и, прочитав на бронзовой табличке надпись: «Заведующая финансовым отделом мадам Фактура», – тихо постучал.

– Войдите, – раздался из-за двери чей-то дискант.

Командируемый открыл дверь и оказался в конференц-зале. Длинный некрашеный стол для заседаний был завален документацией и заставлен немытыми кофейными чашками. Перпендикулярно ему стояли небольшой желтый секретер в чернильных пятнах и облезлая канцелярская тумбочка. Из-за шаткого секретера показалось тщедушное, листообразное, потрепанное жизнью телесо с огрызком «серебряной» нити.

– Из налоговой? – спросил листок, закашлявшись. – Присаживайтесь.

Листок болезненно кивнул на разбросанные деревянные стулья со вспоротыми засаленными обшивками.

– Командируемый я, – устало произнес Флёр, подняв за спинку один из стульев.

– Денег нет, – резво ответил листок сытым басом и тотчас превратился в массивную кожаную тетрадь с толстой волокнистой «серебряной» нитью. – Предприятие в убытке, только за свой счет.

– Но мне сказали…

– Мало ли, что вам наплели.

Тетрадь направилась к серванту красного дерева, который мгновение назад был неприметельной тумбочкой, – на письменном столе, обтянутым глубоким зеленым сукном, появились ежедневник «MOLESKINE», бутылка дорогого многозвездочного коньяка и одна изящная рюмка.

– Вам не предлагаю, в командировку следует отправляться трезвым. – Мадам Фактура плеснула в рюмочку и пригубила. – Аромат! – Клеточки глаз в неге закатились. – Еще вопросы? —Мадам с любопытством окинула командируемого блудливым взглядом.

– Суточных бы… – выдавил Флёр.

– Опять вы за свое, – недовольно буркнула она. – Сказано же, голодаем. И не садитесь в кресло. Продавите.

– Вы же сами предложили, – обиделся командируемый, застыв в неестественной позе. Руки его продолжали покоиться на спинке кресла. Спинка была резной, ножки – изогнутыми, золочеными, материя – в алых порочно-парчовых розочках.

– Я не вам предлагала, а социальному статусу, – уточнила мадам и, выставив мизинчик, снова подняла рюмку. Чувствовалось, что жизнь ее весьма благополучна и протекает с «оттопыренным пальчиком». – Бывайте! – Она сделала глоток и вдруг произнесла: – А может?.. – Зашевелив листами, Фактура раскрылась на середине. – Я вам нравлюсь, накрахмаленный?

– Я прям не знаю, – Флёр смущенно потупил взор.

– Изголодались мы тут. – Она поднялась и, перебирая листиками, волоконцами и клеточками, направилась к Флёру. По пути захватила из серванта вторую рюмку. – Сами понимаете – Балансики, Финансики, Бюварчики… неуравновешенные, истеричные, взбалмошные… Скучно с ними, право слово. А еще Маркеры ультрамариновые захаживают, тьфу, гадость. Глотните, рыцарь призрачного образа! – Мадам протянула Флёру уже наполненную рюмку. – Только на бру… Я вас умоляю… дер… Не обижайте мадам – вдову Бухучета… шафт… – И сомкнулась над Флёром.

– *Брудерфарш* какой-то получился, – чуть слышно пискнул командируемый и тотчас заголосил: – Выпустите меня! Выпустите!

– Бесстыжий, а бесстыжий, я вам не симпатична? – чуть ослабив объятья, жеманно спросила она. – Ах! Я такая мур-мур-мур… муаровая…

– Закройтесь, не смущайте юношу… Муаровая… – задыхаясь, сказал Флёр, высвободился и сделал шаг к двери.

– Все вы такие, командируемые… невнятные какие-то, – поджав волоконца, обиделась мадам и захлопнулась. Тяжело опустилась на стол для заседаний. – Может, вам обложка моя не нравится? Может, кожа не та? – простонала она, попытавшись раскрыться прямо на столе.

– Не в этом дело, – заикаясь, произнес Флёр, отводя взгляд. – Просто, ой, ну я вас умоляю… я люблю безопасность в отношениях, понимаете… Я даже у врача еще не был, – неожиданно для себя вдруг выпалил он.

– Как – не были? – Мадам резво соскочила со стола и, захлебнувшись в праведном гневе, проорала: – Да как вы посмели!!! Как?! Как?!..

– Что вы говорите такое, как вам не стыдно! – сконфузился Флёр, догадавшись о том, что мадам имела в виду, но из-за врожденной скромности не произнесла.

– Мне стыдно?! Мне?! – забасила она, налетев на него, точно фурия. – А как, если бы вы перезаражали тут всех!

– Ну уж, так-таки и всех, – проронил командируемый, пятясь к двери.

– А как вы думали? Ко мне, между прочим, со всех отделов ходят. Это что ж, чтоб меня потом в *бес*-порядочности обвинили? Что ж вы меня дискредитируете! Командируемые, знаем мы вас! Три дня в командировке – месяц на пенициллине! Вон! Вон! Зараза такая! – Она ринулась на него, но Флёр ловко выскользнул из кабинета и быстро захлопнул за собой дверь, за которой что-то хлопнулось об обшивку.

Командируемый осмотрелся. Кнопки сочувственно смотрели на него и отводили взгляд. Скоросшиватели и Степлеры понимающе кивали и, проплывая мимо, ободрительно хлопали по плечу, отчего оставалась долгая колющая боль.

Одно только Пресс-папье, по неведомой причине оказавшееся в отделе финансов, никак не отреагировало на появление Флёра – оно вяло покачивалось из стороны в сторону и бесполым голосом обращалось к среднеродому Перу:

– Написали-промокнули, написали-промокнули… Получилося «Оно».

Перо-писáло тем временем юрко строчило что-то на полу, не обращая внимания на Пресс-папье, которое со стороны очень смахивало на уборщицу, прибирающую мусор. «Серебряные» нити у обоих были в виде полых трубочек.

– Сумасшедший дом, – пробормотал Флёр и вдруг увидел полуголого Баланса с фиксатым существом и пересмеивающимися типами, совсем не похожими на наручники. У каждого из кармана торчало по золотому «PARKER'у». От них пахло ликером и самодостаточностью. «Серебряные» нити искрили смарагдами. Один тип держал взорванную коробку «Assorti» и был перепачкан в шоколаде, другой – тянул неподъемный пакет, в котором перемешались кулинарные изделия, некогда носившие названия пряников с начинкой, шоколадных кругля-

шей, ореховых квадратиков и песочных глазков, сейчас же принявшие вид сплошной густой варениевидной массы: конфитюр в песке, джем в комках, варилово.

– Эй, Баланс-замзав… – с издевкой говорил несший пакет, разбрасывая на ходу крошки. Лицо у него при этом было мучнистым, с многослойной улыбкой во всю пасть. – Возьми веночек с джемом, для тебя венки ща крайне актуальны…

– Ага, – сочно и сладко расхохотался другой, растянув в жирном гоготе мармеладные губы, – и это… клетчатое печенько с хворостом…

Существо несло полуоткрытый кейс, распухший от конвертов, и алчно шныряло взглядом по сторонам. Баланс же глупо и беспомощно улыбался, думая лишь о том, как бы поскорее усмирить беснующуюся на аркане вошь в левом кармане пиджака, где еще недавно лежало пухлое портмоне, но, поравнявшись с Флёром, вдруг оживился и зло проскрипел:

– Ловко вы меня подставили. Благодаря вам без штанов остался. Са-мо-зва-нец!

– Вот тут только ошибочка небольшая у вас, – обратившись к Балансу, нежно прошипело существо, по тонким губам которого проползла острая бритвочка языка, – но ничего, сейчас к мадам Фактуре зайдем и исправим. И, как обещали: заключение в лучшем виде будет.

– Мало вам, – фатально бросил Баланс, глянув на притихших *цифроблох*.

– Кушать всем хочется, – шамкнуло существо и, поравнявшись с дверью, спросило: – Здесь?

Баланс печально кивнул. Существо постучало:

– Именем налогового законодательства, приготовьте бакшиш!

– А?!

– Хабару давайте! – существо в нетерпении пнуло дверь ногой, отчего *цифроблохи* на «серебряной» нити Баланса всколыхнулись, заволновались, сорвались вниз и с писком и причитаниями разбежались в разные стороны. – Фискальный сбор! Мзда! Хапанцы!

– Так бы сразу и говорили, – раздался бодренький дискантик. Дверь открылась, и на пороге появился маленький мятый листок с морковным чаем в худеньких бескровных ручках. Посторонившись, он пропустил в кабинет одну мечущуюся, держащуюся за голову, *цифроблошку*, которая отбилась от подруг.

– Экая у вас фактура хлипкая, – невольно скаламбурив, заметило существо и шагнуло в кабинет, наступив на что-то многоверткое, но малоудачливое, превратившееся из верченой восьмерки в два расплющенных «ватерклозетных» ноля.

– Да уж, не Гроссбух, – басовито хохотнул один из сопровождающих.

– Мор, повальный голод и безденежье, – ответил листок, чахоточно закашлявшись; окинул коридор цепким взглядом воришки, заметив Флёра, погрозил ему костлявым кулачком и закрыл за самодостаточными типами с ущербно-ущемленным Балансом скрипучую деревянную дверь, на которой вместо бронзовой узловатой таблички висела приколотая булавкой разлинованная бумажка.

Командируемый хмыкнул, сделал шаг в сторону, неудачно поскользнулся, попытался сбалансировать, но тотчас оступился и покатился вниз по лестнице.

Отдел отобразительных искусств

В отделе *отобразительных* искусств всё сверкало. Стены, оклеенные разноцветными и черно-белыми фотографиями, пестрели вырванными из жизни кусками – разный формат, пустые судьбы, смешение цветовой гаммы, взаимоисключающая направленность. Овальные, квадратные, треугольные. Семейные – торжественно-глупые, визовые – напыщенно-умные; одиночные – в профиль, в фас, в мозжечок; групповые – в коленные чашечки, в сплетенье рук… в пьяный взгляд. Младенчиков, стариков, ликвидаций.

Особенно яркой была фотография в черной рамке, на которой с трудом угадывалась подрагивающая «серебряная» нить и испуганно-удивленное лицо испаряющегося незнакомца. Надпись под фотографией гласила: «Момент ликвидации». Около крепового снимка висела фотография размером поменьше – в розовой рамочке с налепленными безвкусномордыми херувимами без штанов, с режущей глаз вспышкой и знакомым остроносым личиком.

– «Рождение мадам Литеры», – прочел Флёр. – Вот оно как! Стало быть, можно уловить моменты, – произнес он в пустоту и подошел к двери, на ручке которой висела картонка со словами: «Засветишь – линчую. Перфораций». Командируемый долго и вдумчиво вчитывался в надпись, но, так и не поняв ее смысла, потянул дверь на себя.

– А-а-а! Засветил, засветил, поганец! – из-за двери показалась белая всклокоченная шевелюра и смуглое расстроенное лицо.

Перфораций был одет, словно собирался на прием. Смокинг, сорочка, бабочка, лаковые туфли. Но что-то неуловимое в его облике смущало Флёра. То ли зернистое лицо, будто изъеденное оспинами, то ли смокинг, который в некоторых местах был побит молью, а рукава так и вовсе, казалось, были пробиты перфоратором. Руки у него были в волдырях и исторгали резкий запах ихтиоловой мази, смешанной с «фруктовой водой»[6], – по всему, Перфораций пользовался фотохимикатами не очень осторожно. – Ты что, читать не умеешь? День работы, урод! Я же пленку проявлял. Кто мне теперь ликвидацию кутюрного цеха восстановит?

– Я очень извиняюсь, – залопотал командируемый. – Я ж не знал, что вы…

– Ты сам-то откуда такой любопытный выискался? Отвечай.

Перфораций вышел в коридор и ткнул антрацитовым ногтем в плескающегося в изумрудном галстуке Тимошку.

– Отдел лингвистики. Флёр.

– Замечательно, – ощетинился тот белыми усами. – И читаешь, наверное, как все лингвисты, только между строк. Там, где белое всё. Нет, ну надо же, в самый ответственный момент. Я вроде бы даже Альбиноса запечатлел и Тех, Кто цех ликвидировал. И на тебе! Нет, ну несчастье, просто горе. И кто тебя на мою голову послал? Что, нельзя было несколько минут подождать? Я же не знаю, когда следующая ликвидация будет. У меня всё спонтанно – дело случая. Как теперь быть?

– Может, я могу вам помочь? – Флёру стало неудобно за содеянное, и он хотел загладить свою вину.

– Нет, ну вы на него посмотрите, чем же ты мне поможешь? Цех реинкарнируешь, что ли? Ты, вообще, зачем пришел? Я тебя звал? Ты у меня по записи? Кто ты такой? – снова спросил Перфораций, забыв, что тот уже представился.

– Флёр – командируемый.

– Это еще куда? – вдруг заинтересовался Перфораций, озабоченно склонив седую голову.

– В Запредел.

---

[6] «Фруктовая вода» *(сленг.)* – фотохимикаты.

Повисла долгая черная пауза. Перфораций отодвинул свисающую с косяка двери штору, включил свет, затащил Флёра внутрь, перевернул табличку другой надписью, более длинной, но не менее беспощадной: «Внимание! Идет съемка! В кадр не попадать, засвечу! Перфораций Негативный», – закрыл за собой дверь, кинул засвеченную пленку в корзину, предложил командируемому стул и сел напротив. Флёр огляделся. С проволоки, протянутой из одного конца комнаты в другой, свисали сушащиеся шкурки змей с дырочками. На столе красовались фотобачок, ванночки с проявителем и фиксажем, увеличитель, пылающий белый фонарь и мертвый красный.

– В Запредел, значит? – нарушил тишину Перфораций. Сдул с бледно-молочного лацкана агатовую пылинку, поправил лилейную бабочку на вороной сорочке и расчесал седые кудри белой расческой. С нежностью посмотрел на рафинадно-сверкающие туфли и снежные шелковые гольфы. Поправил приколотую к лацкану аспидную бутоньерку.

– Да, – горько произнес командируемый, и только тут понял, что именно ему показалось странным в Перфорации: цветовая гамма – бело-черная, наизнанку. Даже «серебряная» нить у него была эбонитовой, выходящей из перламутровой пуговицы на смокинге.

– Дай-ка я тебя напоследок сфотографирую, – предложил фотомастер.

Перфораций снял с полки, на которой стояли пластмассовые коробочки с *нечувствительными* к трагическим событиям фотопленками, старенький обшарпанный фотоаппарат, закрепил его на штативе, пересадил Флёра к отражающему свет экрану, рядом с которым теснились зонтики из фольги, направил на него осветитель, посмотрел в видоискатель, установив выдержку и диафрагму, навел на резкость, и, со словами: «Замри. Не улыбайся. Сделай скорбное лицо. Больше скорби, больше. Губы вниз, кадык вверх. Подбери язык. Да не высовывай, а подбери, я сказал. Вот так. Держать!» – спустил затвор.

– Ты какой формат предпочитаешь? – выключив осветитель, поинтересовался Перфораций.

– Мне всё равно, – возвратив кадык на место, ответил Флёр.

– Хорошо, подумаю. А рамочку украшать как будем? Черной лентой наперекосяк или в венок из искусственных цветов воткнем? В лилиях или в плачущих серафимах? – вопросил Перфораций, разбирая штатив. – Надеюсь, не цветную? А то как-то оно жизнерадостно получится – в красочках-то.

– А нельзя просто – строгую и небольшую? Мне ж для таможни. А что касается цвета, так, опять же, на ваше усмотрение. Хотелось бы, конечно, всё-таки цветную. И чтоб Тимоха влез. – Командируемый показал на испуганную рыбку, притаившуюся на дне галстука.

– Подожди, как для таможни? Я думал, ты близким оставить хочешь.

– Да у меня их нет, близких-то, – грустно сообщил Флёр. – Одни коллеги.

– А коллеги, значит, не близкие? – усмехнулся фотомастер.

– Коллеги – конкуренты и завистники. По крайней мере, в отделе лингвистики. Впрочем, в других, наверное, то же самое творится, но в отделе лингвистики как-то уж это особенно чувствуется, – пожаловался командируемый. Перфораций, соглашаясь, кивнул.

– Нет, я, конечно, могу сделать так, как ты хочешь. – Мастер задумчиво почесал голову, и пол густо устлали мелкие чаинки. – Но на это время уйдет. Проявить. Высушить. А вдруг ракурс неудачный или пленка с истекшей гарантией? Они ж пишут одно, а подсовывают совсем другое. Тогда переснять придется. Проблема, словом.

– Мне вообще-то срочно надо.

– Срочно можно, но некачественно, – заявил Перфораций.

– Давайте некачественно, – согласился Флёр.

– Я некачественно не умею. Чувство ответственности не позволяет, – с достоинством ответствовал Перфораций. – А вот Быстродей может.

– Это кто?

– Следующая дверь. Правда, получится преомерзительно. Я ведь приукрашивать люблю. Тут прыщик уберешь, там заретушируешь… Был урод, а стал мордоворот – красавец, три сажени в плечах! Из любого плебея плейбоя сделаю. Загляденье. Искусство, словом. А Быстродей так не может. Раз-два – и в рамках. Дырк-дырк-дырк. Ремесленник. Подмастерье. К этому же подход особый нужен. Дырк. Дырк. Где подбородок сгладишь, где мышцы нарастишь. Мешочки под глазами уберешь, из землистого цвета лица люминесцентный сделаешь. Монтаж могу: лицо ваше, а тело – всего отдела. И наоборот. Без накладок, конечно, не бывает, ну так на то оно и творчество – ошибки исправляются в процессе их появления. А этот… Этот отобразит в наихудшем виде. Родинка в фурункул превратится. Пародонтоз в выпрыгивающую челюсть. Я, конечно, преувеличиваю, но могу сказать точно: если вы призрак, то на фото призраком и будете, это как фиксаж сменить после пятидесяти фотографий, – ничего у вас не прибавится и, соответственно, ничего не убавится. Разве что глаза красные будут… аки карбункулы.

– Признаться, именно это мне и нужно, – отозвался командируемый, поднимаясь, – чтоб пореалистичней.

– Не путайте реализм с натурализмом, – метнул в ответ Перфораций, протянув ему черную руку.

– До свиданья, – Флёр, не без отвращения, легонько прикоснулся к пальцам мастера.

– Э, не… Раз уж вы в командировку собрались, то прощайте, – Перфораций вдруг глубоко и сочно зевнул и, смахнув выступившие на глазах креповые слезы, отворил дверь.

Флёр вышел и остановился около следующей двери с пляшущими буквами на табличке – «Быстродей-Полароид. Не качеством, но количеством». Наученный горьким опытом, он долго переминался с ноги на ногу, не зная, как ему поступить: постучать о филенку или открыть дверь сразу.

– Что делаем: входим или чечетку отбиваем? – услышал он металлический скрежет за спиной, обернулся и увидел перед собой сутулого старика с неприятным отечно-йодистым лицом и металлической «серебряной» нитью. Старик распахнул дверь. – Проходите. Для таможни?

– Как вы догадались? – пропуская его вперед, удивился командируемый.

– Глаз на чемоданное настроение наметан. Те, кто собираются уезжать, имеют затравленный и, если так можно выразиться, неуспевающий вид. Рубашки выглажены, а пуговицы не пришиты.

– У меня с этим всё в порядке, – поправив узел галстука, похвастался Флёр.

– Как сказать. – Старик оценивающе посмотрел на манжеты командируемого с разными «запонками» и, тяжело ступая, подошел к стойке с кассовым аппаратом. – Кстати, где ваш чемодан?

– Я налегке. Ненадолго.

– Ненадолго? Ну, будем надеяться… Она, надежда, как известно, умирает последней… А то, знаете, нет ничего более постоянного, чем временное… Так вам как? Цветную или черно-белую?

– Желательно цветную, и чтоб Тимошка влез. – Флёр указал на галстук. – Вы фотографировать будете?

– Я уже давно этим не занимаюсь, в тираж вышел. – Старик горько усмехнулся. – Так – на побегушках. А тяжело, надо сказать, в мои годы, – возраст. Благо внучок помогает, а то не справился бы. Только запропастился куда-то. По Линзам небось пошел, Слайдик мой.

– Дагерротип, ты? – раздался молодой зычный голос из смежной комнаты.

– Я, я, Быстродей, кому ж еще быть, – проскрипел старик.

– Клиентура есть?

– Малец один. Анфас-профильную делать пришел, – откликнулся Дагерротип. – Сколько с него?

– А он куда собрался?

– Из Здания я! – крикнул Флёр.

– С покойников денег не берем. Фирма угощает. Входите, – ответил жизнелюбивый голос.

– Что-то рано вы меня хороните, – заметил командируемый, войдя внутрь.

– Лучше раньше, чем позже. Запах, знаете ли, – бодро отозвался тип в ярких размытых одеждах. Казалось, что костюм у него голубой, но стоило Быстродею повернуться боком, как тот приобретал сиреневый оттенок. Шаг вперед, от ширмы, – и лацканы с рукавами принимали удушливый фиолетовый цвет. Ножкой вглубь, к ширме, – и тип становился просто синим. Весь какой-то неестественный, болезненно-оптимистичный и точно разбавленный водой. Глаза у Быстродея были красные и припухшие – не то от недосыпа, не то с перепоя. Цвет «серебряной» нити едва поспевал за изменениями в костюме. От постоянного «плавания кадра» у Флёра зарябило в глазах, и он никак не мог сфокусировать взгляд.

Быстродей сделал неопределенный жест рукой.

– Присаживайтесь. В командировку, значит?

– Да, – наконец сосредоточившись, командируемый сел около белого экрана. – Только мне не очень понятны ваши мрачные прогнозы.

– Это не прогнозы, – Быстродей весело хихикнул, – это почти что свершившийся факт. Вы мне из тех, кто вернулся, хоть одного нормального можете показать?

– Вряд ли, я в Здании недавно.

– А я давно, – Быстродей заискрил сиреневым. – И скажу честно: лучше б им не возвращаться. Цветовая гамма в одном месте нарушилась, если вы меня понимаете.

– Честно говоря, не совсем, – кашлянул Флёр, подумав, что у самого мастера полароидного отображения далеко не всё в порядке с цветом.

– Это я к тому, что не всё живо, что движется. Вроде бы такой же, как мы с вами, а что-то с ним неладно.

– Вы хотите сказать, что и со мной такое произойдет? – слегка занервничал командируемый.

– Вовсе нет, – успокоил его Быстродей. – Вас по пути стереть с лица Здания могут или в утиль на догнивание отправят, так что не переживайте, может, обойдется.

– Приятная перспективка, – Флёр почесал за плавником у Томми-Тимошки. – И что мне прикажете делать?

– Существовать, как и мы все, – под страхом внезапной ликвидации. Не бойтесь, к этому быстро привыкаешь. На судьбу сетовать бесполезно – с ней можно только смириться. Думайте о том, что вас нет, тогда вас и стереть не смогут. Вас же нету. Как же вас сотрут? Главное, чтоб вас для себя не было, тогда вас и для других не будет.

– Ловкая у вас философия. С вывертами какими-то, – подметил командируемый.

– Уж какая есть, – хмыкнул Быстродей. – Я ведь почему вас хороню заочно? Чтоб вы на свой счет не обольщались. Тогда, когда с вами это самое печально-радостное событие произойдет, то не так страшно будет. Посему постарайтесь адаптироваться к неизбежному.

– Спасибо за совет, – бросил Флёр. – Так вы меня как – фотографировать собираетесь? – Он сделал многозначительную паузу. – За счет фирмы?

– А вам что, «гробовых» не выделили? Сэкономить напоследок решили? Шучу, шучу. Так и быть, бесплатно. Политика фирмы. Реноме. Статус. Может, мы с вами в последний раз видимся. Хочу, чтоб у вас хорошее впечатление обо мне осталось.

– Уже осталось, – процедил Флёр.

– Три с половиной на пять, хорошо?

Командируемый махнул призрачной шевелюрой.

– «Цинковую»? – не унимался Быстродей.

– Да что вы заладили, в самом деле! – взорвался командируемый.

– Хохмлю, хохмлю, – Быстродей миролюбиво замахал фиолетовыми рукавами. – Приготовьтесь. Сконцентрируйтесь. Напрягитесь. – Быстродей направил на командируемого объектив полароидного аппарата. – Сейчас отсюда выползет ящер смерти.

– Какой ящер?! Какая смерть?! – рявкнул Флёр. – Что вы себе позволяете?!

– Экий вы неуравновешенный, право. Слова вам не скажешь, – хохотнул Быстродей, сунул ему в руки картонку с цифрами и, скомандовав: «Держите на уровне груди», – быстро нажал на спуск и забрал картонку. – А теперь повернитесь профилем вправо.

– Зачем профилем? – удивился Флёр, поворачиваясь.

– Для архива – на всякий случай. Да и для таможни – сейчас же новые правила ввели: отпечатки пальцев, номера рож, бок ноздри. Вы не знали? Ничего, скоро узнаете. Всему свое время… Эй, Даг, циферки подержи, – гаркнул Быстродей.

В комнату, тяжело ступая, вошел Дагерротип, взял протянутую Быстродеем картонку и опустил ее чуть ниже левого плеча Флёра.

Быстродей щелкнул еще раз и велел:

– Подождите в приемной. Я быстренько.

Командируемый поднялся, вышел в приемную и подошел к стене, на которой в кляссерах стояли фотографии. В фас и в профиль. Каждой по четыре. Под некоторыми были сделаны, вероятно, рукой Быстродея, корявые расплывчатые пояснения: «Не востребована. Ликвидирован» или «Сошел с дистанции. Направлен в архив». Лица у клиентов, отображенных на снимках, были такими, будто всем им сказали, что эти фотографии в их жизни последние, поэтому следует сделать максимально пессимистичное выражение, нацепить скорбящую по себе желтушную масочку и вспомнить всё самое худшее, что с ними произошло за время пребывания в Здании. «И побольше желчи, побольше. Так, чтоб скулы сводило», – слышались «закадровые» голоса работников отдела *отобразительных* искусств. Глаза у всех без исключения были красными и испуганными, – казалось, некоторым посчастливилось узреть плотоядную улыбку «ящера смерти».

– Даг, подойди ко мне! – проорал Быстродей. – Ничего не понимаю.

Старик тяжело поднялся из-за кассового аппарата и вошел в комнату.

– Первый раз такое вижу, – молодой голос был явно чем-то озабочен.

– Попробуй еще раз. Может, он дернулся в этот момент? – предположил Дагерротип.

– Ну да, – съехидничал Быстродей, – так, что костюм остался, а всё остальное пропало. – Эй, бедолажный, пройдите сюда.

Флёр вошел и не без сарказма поинтересовался:

– Что-то не так? Мастерство подвело?

– Не дерзите. Еще раз попробуем. Анфас. Профиль.

Командируемый уселся и застыл. Дагерротип придержал картонку на уровне его груди, после щелчка Флёр повернулся вправо. Быстродей снова нажал на кнопку и велел посидеть. Сам стремительно выбежал. Через минуту вернулся в сопровождении Перфорация.

– Всё понятно, – разулыбался фотомастер, мимоходом кивнув командируемому. – Подругому и быть не могло. Я, собственно, и не сомневался, что так выйдет.

– Я два раза пробовал. Вот первый вариант, а вот второй. – Быстродей вытащил из-за пазухи снимки.

Перфораций, Быстродей и старик Даг склонились над фотографиями. Перфораций, задумчиво мотнув кипенной шевелюрой, повертел два варианта в руках и обратился к Флёру:

– Вам какой больше нравится? Там, где рубашка желтая или морковная?

– По-моему, она у меня оранжевая, если не ошибаюсь, – хмуро ответил командируемый, но на его замечание никто не отреагировал.

– С пятном пиджака или с серой дымкой? Галстук цвета тины или салатный? – справился Перфораций, нервно огладив топорщившуюся щетку светлых усов.

– Лучше, где я на себя больше похож, – подался вперед Флёр.

– А нигде, – скрипнул Дагерротип.

Перфораций усмехнулся, оголив нездоровые, но в негативе меловые зубы, и вручил Флёру оба варианта.

– Да-а-а, – озадаченно протянул командируемый, рассматривая полароидные пластинки. – Вот те раз. Что же это всё значит?

– Призрачность облика, я предупреждал. Плюс быстротечность процесса, – пояснил Перфораций.

– И что же мне теперь делать? – подавленно выдохнул Флёр.

– Выбирать, – заявил Быстродей. – В третий раз еще хуже может получиться. Зато бесплатно.

– Я второй вариант, пожалуй, возьму, – без энтузиазма пробормотал командируемый.

– Нам без разницы, – отозвался Быстродей.

– Первый вариант предлагаю повесить на стене в качестве художественного портрета, – заносчиво предложил Перфораций.

– Издеваешься? – обиженно шмурыгнул Быстродей.

– А что? – парировал Перфораций. – Апофеоз твоей деятельности и всякого быстродейства. – Он взял со стола две рамочки и вложил в них снимки.

– Кр-р-а-с-с-а-вец, вылитый призрак. – Перфораций с любовью посмотрел на творчество Быстродея.

Полароидный лист отображал Флёра в четырех одинаковых жизнеутверждающих анфасах: пятно пиджака, желтая размытая рубашка, галстук в тине, на замусоренном дне – конвульсирующий мутант-Томми цвета гнилого апельсина. Лицо у Флёра отсутствовало. Две кровавые безобразные капли, нависнув над сорочкой, пытались сорваться вниз – это были глаза. На снимках, где командируемый был сфотографирован в профиль, вообще кроме серого пятна пиджака ничего не было.

Внизу каждой фотографии виднелись цифры, но отчего-то они выстроились в кривую линию, и понять, что это было за число, не представлялось возможным. Кривая отдаленно напоминала расплющенную горизонтальную восьмерку с рваными кольцами – символ бесконечности.

Перфораций попросил у Дагерротипа столярные инструменты, вышел из комнаты, выбрал самое видное место в приемной, вколотил гвоздики и повесил на них рамки.

– Сними немедленно, – запротестовал Быстродей.

– Глупый ты, – оборвал его Перфораций. – Посмотри, как хорош. Выражение лица отсутствует. С фоном сливается. Да и непонятно, честно говоря, где тут фон, где тут он… Разве не к тому мы в Здании все стремимся? Ты еще за это отображение премию получишь.

– Думаешь? – Быстродей с сомнением посмотрел на шедевр.

– Уверен. В искусстве что главное? Не выделяться и делать всё как можно быстрее, – заявил Перфораций. – Вам не пора? – прервавшись, обратился он к Флёру, который угрюмо смотрел на рамки, нервно теребя второй вариант: с дымчатым пиджаком, морковной рубашкой, абрикосовым Томми-Тимошкой в салатных водорослях, с вытаращенными, возбужденными – какими-то абстинентными – глазами на пустом месте.

– Ухожу, ухожу, быстродеи! – обозлился командируемый и, хлопнув дверью, покинул помещение.

– Очень нам нужна ваша рожа! – проорал ему вслед Быстродей, поправив покосившиеся от удара рамки.

– Обиделся. – Дагерротип покачал головой и повернулся к Перфорацию: – Какую надпись сделаем?

– Так и напишем: «Без лица, или лицо каждого. Top-model Flor», – предложил Перфораций.

– Лучше только последнюю фразу оставить. *Завитьевато* получается, – заметил Быстродей.

– Как хотите, мне всё равно, – отмахнулся фотомастер. – Только без первой фразы весь смысл теряется.

– В чем же смысл? – озадачился Дагерротип, взглянув на вставленные в стенные кляссеры фотографии.

– В том, что все мы призраки. Наше прошлое убито фотографиями, наше настоящее – заряженная пленка, а будущее – закрытый объектив, и кадр еще не отснят, – с претензией на философию промудрствовал Перфораций, задумчиво посмотрев на стену с ликвидированными и сданными в архив. – Посмотрите на наше желание отличаться от других: заостренные черты лица, выпяченные скулы, всезнайская ирония на губах и злоба, всеразрушающая злоба в глазах. Только на самом деле – за всем этим кроется страх. Страх быть непонятыми. Страх потеряться в общей массе. Страх, что плечами затрут. Вы не замечали, что многие долго не могут найти себя на стенде, когда приходят за снимками? Это потому, что одеты все одинаково, – по неписаному правилу не отличаться в анкетах. Это оттого, что не только однообразная форма убивает лица, но зачастую и простой серый галстук. Это оттого, что улыбаться нам – по тому же неписаному правилу – запрещено. Вот и получается в итоге одно глупое затравленное лицо. Так что лучше так, призраком – без лица… В массе своей, в желании быть неповторимыми, но при этом оставаться похожими на других, мы, к сожалению, одинаковы, а значит, нас нет, – резюмировал фотомастер. Коллегам после этих слов показалось, что над Перфорацием на мгновение вспыхнул нимб. Вспыхнул и погас.

– Ну, не знаю, не знаю… я как-то этого не замечал, – Быстродей пожал по цвету и форме неясными плечами.

– Это потому, что молод еще – спешишь, – наставительно произнес Перфораций. – Остановись – сделай стоп-кадр и посмотри… Посмотри на заносчивых, целеустремленных и самоуверенных. Знаешь, что за всем этим таится? Комплексы, страх и неуверенность в себе. Ты слышишь чеканный шаг? Это – пошаркиванье. Точно тебе говорю, Быстродей. Прислушайся.

В этот момент, точно по заказу, дверь широко распахнулась, и в приемную вбежал нахрапистый тип в линялом костюме, в отутюженной белой сорочке с двумя равнобедренными треугольниками воротничка, между которыми гордо висел какой-то бесцветный шнурок. Костюмные брюки были коротковаты, рукава пиджака – слишком длинны. Не шлейфом, но потрепанным хвостом за ним тянулся терпкий запах дешевого одеколона. Несмотря на то, что тип был вполне осязаем и не лишен отличительных черт – резкий визгливый голос, нервная походка, чуть заметная ямочка на подбородке, – казалось, что приемную заполнило бесцветное бесформенное пятно с ничтожной «серебряной» нитью.

– Фотографироваться? – живенько спросил Быстродей.

– Да, – не улыбаясь, ответил тот, расправляя ямочку на подбородке. – Побыстрее, пожалуйста. Я тороплюсь.

– Спешите? Дырк-дырк-дырк… – умилился Перфораций.

– Фото-миг? – вскидывая «Полароид», уточнил Быстродей. – Дешево и сердито?

– Как знаете… Только скорее, – быстрым голосом откликнулся клиент. – Мне для анкеты в отдел кадров. И если можно, черно-белую…

– «Поликом» таких не делаем. Цивилизация… – щелкнув кнопкой, хохотнул Быстродей. – Только цветные.

Перфораций горько усмехнулся, скептически взглянув на незнакомца с выглаженными, точно утюгом, чертами лица, закатил эбеновые глазные яблоки и тихо притворил за собой дверь.

– Все вы правильные, все вы чистенькие, и лица у вас накрахмаленные какие-то… – бормотал под нос седоусый и сребровласый Перфораций. – Анкета сути важнее… Только вот штанишки – коротковаты… Да и лица… А что, собственно, лица?.. Такие лица только мыльницей снимать… и то без пленки…

Погасшее Окно

Дипломат был наглым, амбициозным – из кожзаменителя; позолоченные замки с простеньким кодом в некоторых местах дали ржавчину, левый замок был сломан, на дерматиновой обшивке виднелся хорошо заметный рубец, а перехваченная замусоленной изолентой ручка болталась на двух слабо прикрученных винтах из стороны в сторону.

Весь он был в наклейках и переводных картинках. На одной облупившейся «переводке» сидел взъерошенный голубь с конвертом в клюве, на котором проступало хорошо заметное слово, выцарапанное, вероятно, гвоздем. Откуда эти пять букв появились на его правом боку, Дипломат по причине постоянной беспробудности не знал, и ему казалось, что слово ругательное. Поэтому он его стеснялся и старался повернуться к собеседнику левым боком, выставляя тем самым на обозрение сломанный замок.

Дипломат церемонно высморкался в грязный носовой платок, откинулся на спинку кресла, так, чтобы не было видно бранного слова «E-mail», брезгливо прошелся взглядом по стенам кабинета с отклеившимися в некоторых местах wallpaper'ами[7], недовольно дернул кирпичной по цвету «серебряной» нитью и буркнул:

– Смрадно у вас тут.

– Реорганизации ждем, – запинаясь, пояснил Портфолио, старенький журнал, некогда занимавший в Здании ранг художественного альбома при отделе культуры, а затем, когда отдел был ликвидирован за ненадобностью, переведенный в категорию проспектов, где с тех пор и пребывал в должности заведующего сектором *ино-странных* дел. От прошлого у Портфолио осталась только качественная, хорошо пропечатанная «серебряная» нить.

– А меня скоро в ранг кейса переведут, – похвастался Дипломат.

– Кожаного? – с недоверием спросил Портфолио.

– Да, из свиной, – подтвердил тот.

– Кто же на вашем месте будет? – Портфолио заметался по кабинету, сверкая сальными страницами с рекламой, плэйметами, комиксами и постерами.

– Поставят какого-нибудь дилетанта без портфеля, – приосанившись, нагло заявил Дипломат, гордо дернув перекошенной ручкой. – Хотя жаль, мы с вами сработались… А вы-то как?

– Продвигают… тоже, – скромно ответил Портфолио.

– А я вот в разъездах всё – из Здания в Здание, – посетовал Дипломат. – Чрезвычайные миссии, целевые, тайные. Впрочем, все миссии тайные. Назвать-то их можно по-разному, суть одна – вопросы решаются не в кулуарах, а в кутежах. – Он невесело подмигнул подбитым в одном из таких кутежей левым замком.

– Не проходит? Свинцовую примочку пробовали? – озаботился приятель.

– Эх, что я только не пробовал. И монеты, и примочки, и уринотерапию… Итог плачевен: к облику прибавился запах.

– Может, за встречу? – уходя от скользкой темы, предложил Портфолио. – И – за новую должность?

– Не, не, не!!! – замахал ручкой, перехваченной кольцами изоленты Дипломат. – Хватит.

– Для этикету надо бы, – укорил Портфолио.

– Спасибо уж. Наприемничался. – Дипломат щелкнул левым замком, утопавшим в набрякшем мешочке мутного цвета. – Кстати сказать, я всё чаще ловлю себя на мысли, что мыслей-то у меня и нет – одни этикетки… Уж не из-за частой ли дани этикету? – скаламбурил он.

---

[7] Wallpaper (*комп. жарг., от англ.* «обои») – экранная фоновая заставка.

– Понимаю вас. Порой идеи приходят в голову, а потом упорно ищут мозг, – тяжело вздохнув, согласился с ним Портфолио. – А я вам «Амбассадорской» хотел предложить, которую вы в прошлый раз привезли. Буквально по пятьдесят, не больше. Ну, раз нет, значит, нет. Я, с вашего позволения, один…

– С черной наклеечкой и белым вензельком? – Рубец на дерматиновой обшивке Дипломата заметно порозовел.

Портфолио подбадривающе кивнул.

– В замутненной бутылке с вогнутым донышком? – Гость затаил дыхание.

– Точно, точно.

– А нарушений дипломатического иммунитета не будет? – для проформы поинтересовался Дипломат.

– Какое там. Мы с вами одни. Никто и не заметит.

Портфолио подошел к картине, на которой жирным маслом было написано огромное Погасшее Окно. Нажал сбоку на раму. Картина медленно пошла вправо, и за ней обнаружился бар с початыми бутылями «Амбассадорской», «Церемониальной», «Этикетной» и – закрытая бутыль в паутине – «Неприкосновенной Дипломатической», которыми по старой питейной дружбе снабжал приятеля Дипломат, часто бывающий в разъездах.

Дипломат встрепенулся, подбежал к картине и с явным интересом припал к автографу-крестику.

– Экая живописная архитектоника. Я раньше у вас этого не встречал. Неужели оригинал?

– Что вы, жалкая копия, – отозвался Портфолио, вытащив «Амбассадорскую» с двумя рюмками, и закрыл бар. – Малево.

– А как фигуративно, однако, выполнено. Вы поклонник мистического супрематизма[8]? – сверкнув лжеэрудицией, так часто встречающейся на раутах и званых приемах, Дипломат сделал шажок назад.

– Навряд ли, – ответил Портфолио, – скорее, поклонник первопроходцев, оригиналов, выскочек в некотором смысле, но выскочек в хорошем смысле. В пионерном.

– Погасшее Окно! Гениально! Конец или начало? – продолжал Дипломат.

– Думаю, ни то, ни другое. Просто абстракция, тождественная сама себе.

– Э, не скажите, в любой абстракции заключен подтекст. Что мы хотим сказать черным Погасшим Окном? Что за Ним? Пробуждение после долгого сна или конец всему? А если Его выкрасить в красный цвет? Это ж получается борьба, реорганизация, революция!

– Может быть, но всё-таки…

– Что «всё-таки»? Продолжайте уж, коли начали.

– А то, что это хорошо только один раз. – Портфолио задумчиво посмотрел на Дипломата и негромко, подбирая слова, произнес: – Вы знаете, мы часто путаем гениальность с эпатажем. Но отличие между ними существенное: эпатирующий делает то, что нужно, и только то, на что его настроили массы, а гений – то, что дóлжно, и только то, на что он настроился сам. Эпатирующий – всегда зависим и сыт. Гений же – всегда делает вопреки, и потому голоден. Мы порой забываем, что между искусством и эпатажем такая же разница, как между словами «соблазнить» и «совратить», как между «ловеласом» и «растлителем». Не спорю: есть эпатирующие гении, и существует гениальный эпатаж. Но знак равенства между ними ставить нельзя. Первый всегда выше. Ибо первый – прежде всего гений. А второй – всего-навсего эпатирующий. Вот и получается, уважаемый, что сейчас искусство заполонили зеленые треугольники, голубые круги и серо-буро-малиновые конусы. Собственно, не будем забывать, что единственная

[8] Супрематизм (*лат.* supremus – наивысший) – одно из направлений абстрактной живописи, созданное в нач. 20 в. Цель супрематизма – выражение реальности в простых формах (прямая, квадрат, треугольник, круг), которые лежат в основе всех других форм физического мира. Манифестом супрематизма стал «Черный квадрат» Малевича.

доступная для восприятия форма, в которой не может быть плагиата, – я имею в виду плагиат формы, а не содержания, – это реализм. Иначе говоря, поиск форм выражения ведет к повтору. Один раз – и хватит, а то так недалеко до имитаций, до болезни века.

– Что же вы подразумеваете под болезнью века? – спросил Дипломат, косясь на бутыль. – Аккуратней держите, выскользнет.

– Не выскользнет, – заверил его Портфолио, поставив бутыль на стол. – Информационная булимия[9]. Болезнь века заключается не в том, что мы думаем, а в том, что думают за нас. В том, что нам внушает цивилизация. Но кроме цивилизации существует еще и культура. Мы же в последнее время стали путать эти понятия. Что предлагают нам? Полную и абсолютную подмену одного другим. Нас пытаются убедить, что цивилизация является культурой. Но если культура созидательна для духа, то цивилизация для него энтропна[10], разрушительна. Да, да, не удивляйтесь. Цивилизация – жестянки, пакеты и яркие комиксы – убивает дух творчества, одновременно насыщая тело. Культура же, зачастую уничтожая тело, возвеличивает дух. Смешивать эти понятия нельзя. В то время как цивилизация массова, культура – элитарна, я бы даже сказал – штучна и единична, ибо ее рождает единица, восставшая против миллиона. Культура – девственна, бутоновидна, неопытна. Если хотите, она – невеста, которая вот-вот откинет фату. А нам пытаются доказать, что культура – это миллион, что она – разведенка, что она – многодетна и многовнучна. Они – цивилизация и культура – должны подпитывать друг друга, как любовники, как два равных, но в то же время совершенно разных партнера, где опытность умножается на невинность. А что получается на деле? Нам говорят, что любви нет, что есть один-единственный потребитель, умелый, искушенный селадон[11] с потухшим взором. Не дающий, а забирающий… Но культуру нельзя штамповать – она в единственном и неповторимом экземпляре. Как только культуру кладут на конвейер – она приобретает вид цивилизации. Не знаю, возможно, приведу неточное сравнение, но если культура – это флёр… – Портфолио на мгновение запнулся и закашлялся, – я хотел сказать: флёрдоранж, то цивилизация – просто корзина гнилых овощей… Да, они не могут друг без друга, но и подменять культуру цивилизацией нельзя… Я вам так скажу: когда кухня приходит в культуру, культура становится кухней. Только культура – не газовая плита. Она не поджигается спичкой. А уж тем более – сырой…

– Простите, не совсем понял. Разве не вы говорили о «единичности», так сказать, спички? – устав слушать приятеля, Дипломат недвусмысленно кивнул на бутылку.

Портфолио медленно расставил рюмки на столе, налил «Амбассадорской», чокнулся с Дипломатом, и они выпили.

– Всё зависит от того, кто ее, эту спичку, поджигает, как много рук держат то, что могут сделать всего две руки, как много уже обожглось, как много спичечных коробков израсходовано на одну конфорку и как работает вытяжка над плитой… – выдохнул Портфолио.

– Всё равно не понимаю. Ваши эти глубокобессмысленные сравнения…

– Поясню, – пропустив шпильку, скользнувшую по глянцу страниц, отреагировал Портфолио. – Вот, к примеру, вы. Вы сами нашли для себя ответ. Посмотрели на картину и пришли к выводу: черное – это так, а красное – эдак. Что же касается большинства, то они не думают, а думают за них. Спросите у кого-нибудь в Здании, нравится ли ему черное Погасшее Окно, что он об этом думает, каково его личное мнение. И толком никто вам не ответит. Они просто знают, что это шедевр, что его принято считать шедевром, что так следует думать. Они не ведают, ни кто написал эту картину, ни какова природа появления такого в высшей сте-

---

[9] Булимия (*греч.* bus – бык + limos – голод) – возникающее в виде приступов чувство мучительного голода, сопровождающееся резкой слабостью, иногда обмороком и болями в подложечной области; отмечается при некоторых нервных и психических заболеваниях.

[10] Энтропия (*греч.* en в, внутри + thropē поворот, превращение) – здесь: мера внутренней неупорядоченности системы.

[11] Селадон (*франц.* Céladon) – иронично о назойливом (обычно пожилом) ухажёре, волоките.

пени абстрактного и субъективного творчества, ни как метался автор, ни что имел в виду… Но это не столь важно. Всё знать нельзя. Но, что само по себе любопытно, у тех, у кого вы спросите, не будет собственного мнения на этот счет. Я акцентирую – *собственного*. Пусть они скажут, что это плохо, неоригинально, что это малево, глупость и идиотизм. Что за этой чернотой нет никакого мистицизма, а только реализовавшаяся бесталанность. Пусть! Но пусть скажут! – Портфолио быстро налил и, уже не чокаясь с Дипломатом, опрокинул в себя содержимое сосудика. – Ну, так ведь не скажут! Побоятся, что зашикают! Вот в чем болезнь века! У нас не осталось своего мнения. Нам навязывают его.

– Но ведь именно на навязывании идей держатся Здания, – не согласился с ним Дипломат. – Если не будет навязываний, так, позвольте, всё же сплошной анархией закончится. И именно мы с вами призваны поддерживать этот устоявшийся порядок. Извините, это что ж такое получается, вы как бы нелояльны? – Он откинулся в кресле и прищурил замки.

– Я не нелоялен, я не согласен, – промямлил Портфолио.

– Не вижу разницы, – в свою очередь проскрипел обшивкой Дипломат.

– Есть, есть. Нелояльность – активна, мое же несогласие в высшей степени пассивно. Я лишь говорю, разглагольствую, но я бездействую. Стоит мне заикнуться о моих взглядах, как тотчас прибегнут к помощи другого, а меня просто-напросто ликвидируют. В моем положении не вякают и не качают права, а лишь рассуждают и вносят предложения. Но молча. Про себя. В ветошь и в простенок. Кулачком по столу стук-стук. И бочком, бочком – в тинку…

– Сдается мне, вы не свое место в Здании занимаете, – каменным тоном заметил Дипломат и, при упоминании бока, развернулся сломанным замком к собеседнику. – Ну да ладно, меня это не касается. Пришел-ушел. Но с такими взглядами вы долго здесь не продержитесь. Сами понимаете, я лицо не заинтересованное в том, чтобы ставить вам препоны в продвижении по службе, мы как-никак друзья… – Дипломат сделал паузу, – именно, как-никак… но если кто-либо из служащих услышит подобную ересь, то от вас даже «серебряной» нити не останется, уж поверьте мне. Да и как можно согласиться с вашим заявлением, что мы – служащие Зданий – должны противиться идеям?

– Не идеям, а информации. – Портфолио разлил по рюмкам.

– Вот те раз, как же это понимать? – недовольно фыркнул Дипломат, влив в себя очередную порцию.

– А так, что идея должна обозначаться пунктиром, иметь свободный вход и открытый выход, идея может как сужаться, так и расширяться, она не должна навязываться и презумпироваться. Нас же пичкают не идеями, но абсурдной информацией, которую выдают за истину и которую мы впитываем по причине нашей всеядности. Мы – поглотители. Мы заглатываем, не переваривая. – Портфолио опрокинул в себя рюмку. – Идей уже давным-давно не существует, – продолжал он, – вместо идей осталась информация, которая убивает мысль!

– Насколько я знаю, только информация и делает нас мыслящими существами, – заметил Дипломат.

– Не так, не так, – Портфолио заметался по кабинету, семеня листами и роняя на ходу рекламные вкладыши. – Идея рождает мысль, информация лишь помогает нам точнее выразить наши мысли, но опять же, какая информация? Та, которая нам нужна, или та, которая рождена мертвой изначально?

– Что же вы подразумеваете под мертворожденной информацией? – поинтересовался Дипломат.

– Ту, которая губит мысль, ту, которая не развивает, ту, которой мы, как служащие разных Зданий, обмениваемся и внедряем в отделы. Информация – пустышка. С виду красивая, глянцевая, разноцветная, а по сути – ненужная и уродливая. Именно при помощи такой информации и умерщвляется мысль. Мы пытаемся сформулировать, но нам нечем формулировать. Всё, чем мы забиты, это фантом, которым нас кормят на протяжении всей нашей жизни. –

Портфолио зло кивнул на Погасшее Окно. – Вначале нас приглашают на вернисаж и суют под нос нечто сверхсубъективное и сверхнепонятное, мы тупо вертим головой, но нам говорят, что мы просто недостаточно эрудированны, в нас нет творческой жилки, и заставляют прослушать не менее бредовую, чем сами произведения, лекцию на тему «Малево – как искусство». Мы внимаем. Мы саркастически киваем. В душе мы не согласны. Ничего не понимая, делаем вид, что поняли. И вот – кто-то рядом зааплодировал, кто-то сказал: «божественно, гениально, сверхзадачливо». Мы озадачены. Мы удивлены и обеспокоены. Мы начинаем сомневаться в себе. Мы мечемся. И вот – нас уже нету. Мы восхищены, и, безумствуя, кричим в общем хоре: «Архи, гипер, вне всякого…» И видим за Погасшим Окном то, чего там никогда не было и даже не намечалось – начало, конец, становление, сверхзадачу… И всегда найдется грязнолицый кандидат из давно позабытого протухшего отдела, который ляпнет: «Сие есть прорыв, сие есть сие…» Эх, да что там говорить: сиволапая-онучая у нас элита, а народ – вислоухий. – Заведующий сектором *ино-странных* дел замолчал, подошел к картине, сдул с багета пыль и брезгливо передернулся: – А сколько интеллектуальных выползней в искусстве последнее время появилось, сколько нарывов – «искусство ради искусства», квадрат ради квадрата! И один другого переплевывает. Сло́ва в простоте вымолвить не можем. А сказать по правде, посредственность боится реализма…

– Это вы, по-моему, о себе, – тихо вставил Дипломат.

Но Портфолио, продираясь через макулатуру собственных мыслей, не расслышал его слов и воскликнул:

– Черноквадратники!.. Вот что скажу: черно-квадратники!

– А вы, стало быть, не посредственность? – справился Дипломат, не скрывая глумливой ухмылки.

– Я? Я? Нет, конечно, – изумился Портфолио. – Я не посредственность уже хотя бы потому, что понимаю, что я – посредственность… А они этого про себя не понимают…

– Круто сварено, ничего не скажешь, – фыркнул Дипломат, разлив по рюмкам.

– Они считают, что всё это… – чокнувшись с Дипломатом, Портфолио сделал неопределенный жест в сторону картины, – …и есть искусство. Они, они… – Он безнадежно махнул и выпил: – Да что тут скажешь… Хапуги! Воры! Убивцы! Художественные мародеры, поэтические мошенники, прозаические тати! – раздухарившись, вдруг выкрикнул пьяноватенький чиновник. – А если честно, – изрек, перейдя на жаркий шепот, – то это – мазурики и новаторы от сохи. Пакостное жулье, выдающее эрзац за оригинал, прикрывающее нутряную пустоту внешней формой. Они полагают, что это интеллект и новоформие из них прет? А на самом деле – дурь, чахоточность и бессилье. Малокровие, если хотите, – малоформие и малознание. Знаете, из аквариума уху можно сварить, но из ухи-то аквариум не нацедишь… Вы уж меня за малость-выпитость простите, но не могу иначе объяснить. Чтоб дураку его дурость показать, надо до этой дурости, к сожалению, опуститься, но главное – себя в ней не потерять.

Дипломат напрягся:

– Простите?

– Не вас, не вас имею в виду… Это я образно, – спохватился Портфолио. – А вам, дальновидному и во всех областях продвинутому, так скажу: рак начинается не с форм, он – душой питается. Ибо интеллект в искусстве – это как нижнее белье, – его не обязательно показывать. Но нам нравятся рюхи… Только когда мы одежонку-то срываем, думая, что под ней эластичная молодая кожа скрывается, выпуклости и упругости, то перво-наперво, прежде чем свои антиформы оголять, стоит поначалу в зеркало посмотреться: там – морщины и обвислости, там – пролежни и просидни. Стыдоба, старость и амбишки. Но нам, к несчастью, пока волос из ноздри не покажешь, мы – ноздри не увидим… Нам для того чтобы обувь почистить, обязательно в гуталине вымазаться надо… И знаете, что в итоге получается? Эпитеты, которых не было и быть не может: сиво-красивый и элегантно-вульгарный… Этот список можно

продолжать до бесконечности, только нужен ли он?.. Ведь как бы мы ни обдихлофосились, наше творчество духами не запахнет, поскольку мы дезодорант с дихлофосом путаем. А цветы на тараканах не растут. Тем более – на дохлых. Цветам нужна почва… – Портфолио хлопнул в сердцах глянцевыми руками: – М-да… Пуст постмодернизм. Пуст. Вы на меня гляньте, и всё вам станет понятно – сплошная форма. *Пустмодернизм*…

– Полностью с вами согласен, – отозвался Дипломат, которому лень было спорить.

– Поймите, уважаемый, – гнул свое неуемный заведующий сектором *ино-странных* дел, – я вернусь к картине. Когда это приходит от вас, когда ваше мнение не связано с общими устоявшимися, но навязанными взглядами, именно тогда вы и становитесь личностью. Если вы скажете, что это начало, потому что так решили вы, – я пожму вам ручку, если вы скажете, что это конец, потому что, опять же, так решили вы, – я поклонюсь вам. Но, если вы скажете мне то же самое, но уже после всех – я плюну вам на облицовку… Да, да, плюну на облицовку… – Портфолио предался размышлениям, а Дипломат зарумянился и поежился, на всякий случай отодвинувшись вместе с креслом вглубь кабинета. – Но всё это в прошлом, – продолжал Портфолио, не обратив внимания на перемещения Дипломата, обеспокоенного своим шкурозаменителем. – Раньше нам навязывали идеи, теперь – товар. Нас одурачивают с самого рождения. Вначале выдают свои мысли за наши, потом свои поступки за наши, потом окончательно придумывают нам жизнь… Да, собственно, вот, полюбуйтесь, я был художественным альбомом, а превратился в чахлый брошюр. Эх, не тот я Портфолио, не тот… – С этими словами он начал перелистывать в себе страницы и показывать их приятелю. – Картины, которые были во мне раньше, рождали чувство, рождали желание размышлять, а что может породить глянец, заключенный во мне сейчас? Он заставляет вас чувствовать? Вы получили что-то новое, для того чтобы поделиться с кем-то своими взглядами? Нет, – вы проглотили, и в то же время остались голодными. И раз за разом вместо того, чтобы дать вам то, что требуется для существования вашей мысли, вас пичкают пустой «некалорийной» информацией. Вас угощают бубликом, но на самом деле вы заглатываете дырку от него. И вы опять голодны, хотя вам кажется, что вы насытились. Информация сегодняшних дней заключается в одном: что приобрести, где приобрести, как это работает и где это починить. Информация не идей, а вещей. А слова, слова!.. – Он развернулся на рекламном вкладыше. – Читайте. Это реклама бритвы.

Дипломат наклонился над Портфолио и принялся читать:

– «…Для самых сложных рельефов. Встроенный триммер срезает длинные волоски…»

Портфолио стал быстро листаться.

– Смотрите, смотрите! Подмена сущего рекламой антисущего! – надсаживался он. – Механические станки для бритья, флакон-спрей для одеколона, глазной контур-бандаж, эпиляторы – уникальная система дисков-пинцетов, коробочка для талька… Кожа пяток у Вас утолщена, шелушится, иногда краснеет, покрывается пузырьками, зудит? Чаще всего это грибковое заболевание. Не отчаивайтесь! Новый стандарт в лечении грибковых инфекций кожи – спрашивайте ламизил… Липосомно-витаминный крем для ежедневного ухода за кожей век «Флюид»… А формулировки, формулировки! Коэнзим молодости! Перманентный макияж – и вы вечно эффектны и молоды. Это как? Как, я вас спрашиваю? Как мумия, что ли?.. Алюминиевая банка – еще один повод любить свое пиво… От запоров и цистита – пейте чай вы «Афродита»… Геморрой и анальные трещины с гарантией… Перхоть за три дня!

– И что же в этом плохого? Временами парадоксально, правда, но зато – весело, задорно, – удивился Дипломат. – Закройтесь, простудитесь. По крайней мере, будете знать, чем пользоваться в случае… – Скрипнув обшивкой, он издал неприличный звук. – И вообще, на мой взгляд, вы передергиваете.

– Мы с вами как будто на разных языках говорим… – обиделся Портфолио, закрывшись. Пытаясь уйти от спора и понимая, что с каждым произнесенным словом всё больше и больше погрязает в нем, точно в болоте, он поежился, выпил, решил завершить разговор на мно-

гообещающем многоточии и тотчас выпалил: – Я не против этого, я против *только этого*! Где информация идей? Где мысль? Что такое «триммер», «триклозан», «коэнзим» и прочие варварские слова? Антиперспиранты, мотилиум, лингвальные таблетки… Что это за вурдалаки такие лингвистические? Зачем нам это? Бетаин, керамиды, эластаз и липиды – это что за уроды? Что это за информационная диарея, я вас спрашиваю? Что за словесный *инорез*? Зачем мне знать процесс работы и ингредиенты? Мне надо знать одно: работает это или нет. А нас, извините, *загружают*. Где знание? Много вы для себя почерпнули, узнав, что в таких-то духах находятся теломераза и мелатонин? Где дискуссия?

– Реклама отвергает дискуссию, – прохрипел Дипломат, которому стало слегка дурно: не то от водки без закуски, не то от услышанных неудобоваримых слов, от которых хотелось вывернуться замшевыми внутренностями наизнанку.

– Она не дискуссию отвергает, она мысль отвергает… Заметьте, из-за этого даже искусство стало существовать в рамках слогана. Во всём начал доминировать принцип рекламы – образно, но не содержательно. Вместо жизни нам подсовывают какие-то китчевые картины. Но зачем, скажите, малевать китч, если можно писать жизнь?

– Сейчас это и есть жизнь, – брякнул замками Дипломат.

– Вот именно: жизнь – слоган, жизнь – лозунг, жизнь – этикетка! – тотчас подхватил Портфолио. – Идет мощнейший поток информации, который никогда нам не пригодится. Мало того, этот поток идет на чуждом нам, непривычном языке, понятном только очень узким, уже некуда, специалистам. Гуэмзин, виазун, фернелит…

– А это еще что за слова такие страшные? – облицовка Дипломата потрясенно вытянулась.

– Я их только что выдумал… Понимаете? Только что… Я просто хочу сказать, что «триклозан» ваш от моего «гуэмзина» ничем не отличается. И первое, и второе слово не несут никакой идеи. Но что-то в них такое есть… даже не знаю… код, что ли? Именно. И вот мы уже сами – один сплошной Гуэмзин… Но если без передергиваний и утрирований, то даже при нормальном рекламировании товаров нам не дают передохнуть и сосредоточиться на чем-то одном. «Спамят», а мы не «отфильтровываем». Из всего безликого ассортимента мы приобретем разве что изоленту-скотч, но перво-наперво, сами того не заметив, проглотим информацию о том, что эти духи – не одеколон, этот одеколон – не лосьон, этот лосьон – не туалетная вода, а эта туалетная вода – вообще не вода… При том, что у нас на всё это синтетическое великолепие – аллергия, и мы предпочитаем всему этому здоровый запах пота. Но мало того… приобретая изоленту-скотч, мы еще, как бы невзначай, узнаем, что кто-то построил Здание из телефонных справочников, победил на конкурсе спагетти и дальше всех плюнул. Вот скажите, зачем нам это?

– Для разнообразия, – хмыкнул Дипломат.

– О, как же вы недальновидны! Это не для разнообразия, а для того, чтоб у нас не осталось времени на сомнения, на рассуждения, на поиск; для того, чтоб ликвидировать наше время, а вместе с ним и нас.

– Ну, вы и загнули! Ведь «информация идей» дается тоже. Интервью, советы, рубрики по интересам. Или я не прав?

– Нет, не правы. – Портфолио наполнил рюмки. – Посмотрите *процентуально,* как это выглядит, и вам всё станет ясно. Один к десяти.

– Не так уж мало, по-моему.

– Да, если бы было наоборот – десять к одному. А то на одно интервью – дюжина вибраторов приходится. Шейных, шейных вибраторов, не подумайте чего. И нам, чтоб до этого

интервью добраться… Знаете, от булимии до ботулизма[12] – один шаг… нередко выворачивать начинает. Об этом следует задуматься. – Портфолио поднял рюмку.

– Ну, знаете ли, – ухмыльнулся Дипломат, – не факт, что это – факт. Тем более что на ненужную информацию я могу просто не обращать внимания.

– Ага, как же. Вы не обращаете, а оно само обращается. Тут уж не до революций.

– А вы, значит, за переустройство? – язвительно спросил Дипломат, потянувшись к своей порции.

– Именно, но не в самих отделах, как это бывало раньше, а в сознании. Я за «информацию идей», а не вещей. Словом, я – за здоровый анализ и синтез, за дедукцию и индукцию, за теоремы, за мысль, а не за внедрение аксиом. В конце концов, я за поиск и ошибки. Я за свой опыт, а не за приобретение чужого. Нельзя учиться на чужих ошибках, только трус и дурак учится на чужих ошибках, – возвестил Портфолио и залпом выпил.

– Странно, я всегда думал, что наоборот, – усомнился Дипломат, заглатывая порцию водки.

– Вот и неверно. Это за *вас думали*, это *вам внушили*. Покажите мне хоть одного, кто не повторял бы чужих ошибок? Мы только и делаем, что повторяемся. Все, как один. Казалось бы, знаем все чужие ошибки, все до единой, но всё равно совершаем их. Почему? Сказать вам?

– Поведайте, сделайте милость, – зевая, ответил Дипломат и удобней расположился в кресле.

– А потому, что развитие идет не только через себя, но и через других, через пробы и ошибки не только свои, но и чужие. И, примеряя чужие ошибки на себе, мы вбираем в себя Здание, с тем, чтобы затем дать Ему свои ошибки, которые впоследствии повторят другие.

– Значит ли это, что Здание – есть ошибки?.. Что Здание – это халтура?..

– Нет, это означает лишь то, что Здание есть развитие. В правильном направлении идет это развитие или нет – не мне судить. Но если вы попытаетесь не повторить чужих ошибок и, в конечном счете, вам это удастся, то я бы поостерегся вас обличить… в смысле, персонифицировать… извините, сбиваюсь… я бы вас попросту обезличил…

– Подождите, подождите, а вам не кажется, что, повторяя мои ошибки, вы из Портфолио превратитесь в Дипломата?

– Резонно. Но вот что я вам на это отвечу: кроме ваших ошибок я делаю еще и свои. Ибо опыт – это чужие ошибки, помноженные на собственные.

– Постойте, постойте. Но зная о чужих неудачах, зачем мне повторять их?

– Знать мало – надо прочувствовать. Иначе почему мы расстаемся, теряем друзей, пьем и блудим? Ведь мы неоднократно видели всё это со стороны. Сказать? Видение и знание – это еще не опыт. Опыт определяется лишь собственными поступками, а не теми, которые мы подглядели со стороны… И…

– Спорно, очень спорно, – позевывая крышкой, скрипнул Дипломат.

– Не перебивайте, пожалуйста, а то я опять собьюсь…

– Да уж, пожалуйста… – смилостивился потенциальный кейс, подловато сверкнув замками.

– Значит, так… – подбирая слова, начал Портфолио. – Как бы это точнее сформулировать…

– Не утруждайте себя… – всё-таки не сдержался визави.

– Послушайте, да перестаньте язвить, наконец!

– Хорошо, хорошо… – миролюбиво замахал ручкой Дипломат.

---

[12] Ботулизм (*лат.* botulus – колбаса) – тяжёлое инфекционное заболевание, сопровождающееся явлениями общего отравления организма; вызывается пищевыми продуктами (колбасой, рыбой и т.п.), зараженными бактериями *ботулинус*.

– Так вот… – собравшись с силами, молвил Портфолио. – Информация, которая дается нам, как раз и имеет одну-единственную цель – обезличить всех, сделать одинаковыми, даже не глянцевыми, а глянцевитыми какими-то, придумать всем одну-единственную журнальную жизнь. Без ошибок, без чувств, без размышлений… Но постулировать мечту нельзя! – потому что для вас она приемлема, а для меня такая мечта – таблетка от изжоги. Только желудка у меня нет, вот в чем беда. Не надо мне ваших таблеток.

– Изжога есть, а желудка нет? Чем же вы пьете, в таком случае? – усмехнулся Дипломат.

– Болью я пью, болью. Вы посмотрите: даже нити нам всем навязывают «серебряные», но они не серебряные, не серебряные… И давайте откровенно, мы – это пот и выделения, а нас убеждают в том, что мы – это эпиляторы и шариковые дезодоранты… Но ведь душу – не выбреешь, душу – не продезинфицируешь… Жизнь – свиная кожа, а не нитроцеллюлозный дерматин… Ну и слово… Я б товар из такого материала не купил – выговорить невозможно…

– На что это вы намекаете? – вяло отозвался Дипломат, потершись боком о спинку кресла, и снова зевнул.

– Простите, не хотел. Я в другом смысле… Просто ну не верю я говорящим, что в носу они никогда не ковыряются, потому что для этого есть носовые батистовые платки. Не верю и никогда не поверю. Ковыряются они! Когда платков нет – ковыряются… Я же ковыряюсь… – Портфолио стеснительно улыбнулся, помолчал и снова устремил печальный взгляд на картину: – Вот вам заявляют, что Погасшее Окно гениально и имеет черный цвет? А я вам говорю, что всё это уже было – и этот квадрат не черный, но серый, это – плагиат, это – не мое и не ваше, это – не искусство и уж тем более не икона, на которую молятся слепые. Но уже давно никто не ведет дискуссий об Окнах, сейчас пришло время моющих средств для окон… Время «Белого Квадрата» – время кафеля на стене!.. Эй! Что с вами?

Портфолио нагнулся над приятелем, который, вальяжно развалившись в кресле, спал. Из недр Дипломата – при пьяных всхрапываниях, на выдохе, – выпадали низкосортные «прокламации» с рекламой аэрозолей, освежителей воздуха, шариковых дезодорантов и последних революционных разработок в сферах очищения ротовой полости, защиты кожно-галантерейных изделий и превенции шерстяной мануфактуры от порхающих чешуекрылых паразитов.

Вдруг дверь кабинета широко распахнулась, и на пороге появился Флёр. Он держал в руке циркуляр об откомандировании и фотографии.

– Слушаю вас, – напрягся Портфолио.

– Я, собственно, в командировку.

– Куда? – не понял тот.

– В командировку, из Здания.

– Ну-ка, ну-ка, что там у нас… – Портфолио взял протянутый циркуляр. – Ага, так, так. Но, милейший, вы же не туда попали – вам через печатный цех нужно, а это сектор *ино-странных* дел. Связь Зданий. Дипломатия. Сами должны понимать. Иммунитет, этикет, камуфлет… Нет, последнее, кажется, не оттуда. Не суть… Главное, что ваша командировка в небытие…

– Почему вы так решили? – резко перебил его командируемый. – Почему в небытие?

– А как понимать фразу в циркуляре, видите, тут маленькими буковками написано, в самом низу, в постскриптуме, почти не видно… Цитирую: «Пункт первый: В случае невозвращения объект, именуемый Флёром, считать ликвидированным. Пункт второй: В случае возвращения и психической неуравновешенности объекта избрать альтернативную форму воздействия: от ликвидации до заключения в архиве, с последующим проведением диагностирования и признанием одним из архитипов – «Инфантилом» либо «Творителем». Странно, у вас тут, видимо, опечатка. «Архетип» везде через «и» написано. Архи… *Архитип*… Вы, надо полагать, Флёр? Очередной покров таинственности, за которым пустота? Призрак, иными словами? То есть вас нету?

– Как же, вот он я! – взвился Флёр и, придушив Тимошку, дернул себя за галстук. – Как же они могли?

– Успокойтесь, – одернул его Портфолио. – Вы мне дипломатический церемониал нарушаете.

Сделав шаг назад, он указал на спящего Дипломата, который на мгновение перестал храпеть, завалился набок, и из него выпал ворох цветастых бумажек, на которых можно было увидеть всё, начиная от зубных щеток и заканчивая пылесосами.

– Тайная миссия, связь Зданий, международные сношения, а вы тут – о своей оранжевой шкуре печетесь. – Портфолио приблизился к командируемому. – Поймите, хоть я и не имею, как служащий Здания, морального права вам это говорить, но Здание всегда и везде будет важнее отдельно взятого призрака. Кто вы для Него? Так, один из многих. А Здание – Одно на всех. К вам даже не как к субъекту относятся, а как к объекту. Понимаете? Это Здание – Субъект. Не беда, что вас вдруг не станет. Для вас, конечно, это трагедия. А для Здания – лишь потеря одного из многих. Завтра на вашем месте окажется другой, послезавтра – третий. Вполне возможно, что и я. Но я привык. Знаете, почему? Потому что давно для себя решил: я – никто, если не могу противостоять Зданию. Я рассуждаю, я борюсь внутри себя, но – не противодействую. Если хотите знать, я в некотором смысле тоже – призрак. Может быть, даже в большей степени, чем вы. Ибо я знаю, что я не прав, служа Зданию, но я служу Ему. Я знаю, что мысль погибла на стадии обмена информацией, и всё равно продолжаю работать на Здание и распространять информацию. Так что не переживайте. Все мы одним Зданием писаны. И как знать, может, всё обойдется, и для вас эта командировка будет не последней. Возвращались же другие.

– И какова их участь? – боязливо осведомился Флёр.

– Эх, – вздохнул Портфолио, протянув ему циркуляр. – Читайте постскриптум. – Он отворил дверь, ободряюще похлопал командируемого по плечу, перегнулся через дверной проем и, выпроваживая, напутствовал:

– Я б на вашем месте расслабился. Фантики, витаминчики, музычка. Дорога вам предстоит дальняя, неизведанная. Как знать… Ладно, не буду… – перехватив озлобленно-сломленный взгляд Флёра, прервался Портфолио. – «Граммофон» этажом ниже. Позабавьтесь, не откажите себе в маленьких радостях существования. Ну, а если всё-таки вернетесь, сделайте одолжение, загляните ко мне на «Пресс-атташейную», выпьем по маленькой, больно я по информации изголодался, а то, знаете, очень уж страшно на *пыленепробиваемое* Окно изнутри смотреть, а не снаружи… А если Оно еще и Погасшее, Окно это, так и подавно… О, какая же я всё-таки посредственность!

Портфолио притворил дверь, на косяке которой искрилась густая *паутина* с сытыми полусонными пауками, отдаленно напоминающими буквы www, и жадно обглоданными с разных сторон мушиными тельцами в виде h, t, t, p; r, u, затем, нервно посмеиваясь, подошел к Дипломату, который стал совсем «дерматиновым», нашел в ворохе страниц несколько реклам – жевательной резинки, гуталина и антимоли – и вклеил их прямо в себя. Подошел к столу, налил «Амбассадорской», залпом выпил и, со словами: «Информационные уроды и интеллектуальные шизики», рухнул в стальные никелированные ножки Дипломата, которому должны были присвоить ранг кейса из свиной кожи, но который с каждым всхрапом-вздрагиванием «хармс, хармс», с каждым выпавшим листом, всё больше и больше походил на мятый планшет с дешевыми матерчатыми внутренностями.

Дипломат повернулся набок, громко, спросонья, выругался, разодрав тишину таинственными, пробирающими до костей, словами «Су-пре-ма-ти-сты. Эрзац. Бытие», – свистнул, и из него выпал очередной рекламный шедевр, на котором значилось:

«КАЖДОМУ СЛЕПОМУ ПО ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ КНИЖКЕ»

Кабаре «Граммофон»

По мере того, как командируемый миновал этажи, пролеты, отсеки и секторы, его не покидало смутное ощущение, что чем дальше он удаляется от отдела лингвистики, тем в более неясном свете предстает для него остальная структура Здания. Ему казалось, что за каждой дверью зияет вход в нечто большее и глубокое, в более абстрактное, не поддающееся точному определению, но в тоже время совершенно оформленное, а само Здание так и вовсе с каждым шагом теряет всякие границы, рельеф и объем. Оно словно нарочно отдаляло Флёра от выхода, превращаясь в мираж, к которому чем скорее приближаешься, тем более он становится недосягаем; в призрак, чей силуэт, с одной стороны, невозможно точно очертить определенными рамками, а с другой – таящий что-то очень конкретное, четкое и жесткое, где-то даже жестокое, нечто гораздо более значительное и чудовищное, чем отделы и кабинеты со своими жалкими интрижками и кознями…

…которые, впрочем, с каждым шагом всё меньше и меньше походили на кабинеты и отделы. Особенно сильным это ощущение «неотделов», а может, как раз таки и «отделов», появилось у Флёра, когда мимо него прошли двое – в черных кожаных пальто, темных очках и черных же широкополых шляпах. Они покосились в его сторону, но, не замедлив шага, прошли мимо. И командируемый еще очень долго чувствовал на себе их недобрые, раздевающие до подсознания взгляды.

Бормоча под нос проклятья, Флёр в полной растерянности побрел по мегабайтам коридоров. Куда идти, он не знал, да и будь на то его воля, он бы вообще никуда не шел, но точно какие-то злые силы неумолимо тянули его вперед, разворачивая на углах, заставляя спускаться и подниматься, перепрыгивать через ступени, стучаться в двери, выслушивать подбадривания, в которых нет-нет да проскальзывала подлая усмешка – хорошо, что мы не на вашем месте, ох хорошо!

Он вглядывался в искусственные лица сопереживальщиков, но за мнимой скорбью видел лишь неописуемую радость – ага! перст указал на вас, что ж, в путь, в путь… Мы бы и сами с удовольствием, но дела, дела… Здание без нас не может, а вашу потерю мы уж как-нибудь восполним. Ох и завидуем мы вам – загранка, новые впечатления, знакомства… А вы у Них политубежища попросите, авось смилостивятся, соблаговолят, одаруют… Правда, мы о таком не слышали… Да вы не переживайте, все под страхом внезапной ликвидации ходим. А то, что вы исчезнете раньше, чем мы, так то не беда, главное, что Здание наше наилюбимейшее, наипрекраснейшее, наичудеснейшее останется. Без Здания мы никто. Так, кхе-кхе, извините за невольную ассоциацию, – призрак, фантом. Но вы не принимайте это на свой счет. К слову, знаете ли, пришлось. Нет, всё-таки здорово, что вы в командировочку отправляетесь. Здорово, что вы, а не мы. Отчего, спрашиваете? Так ведь у нас обязательства перед Зданием… Да и коллеги, семья, привязанности… А вы? Что ж, за вами ничего нет. А раз нет прошлого, значит, нет и будущего. Простите, не хотели… Нет, завидуем мы вам, за-ви-ду-ем, это мы тут безвылазно. Впрочем, стоит ли вылезать-то, а вдруг Там ничего нет? Или тоже Здания такие же? Так какой смысл зря время терять?.. Ну, до свидания. Прощайте, в смысле…

…невозвращенец.

С этими невеселыми мыслями, не обратив внимания на невзрачную дверь с надписью «Клумпы»[13], из-за которой доносился едва различимый шепот: «Су-ве-ре-ни-тет, су-ве-ре-ни-тет, су-ве-ре-ни-тет…», – с висящим над перекошенным косяком желто-зелено-красным чахлым триколором и двумя «инквизиторскими сапожками» на нем же, Флёр переступил через выброшенную за порог двери пару лаптей с сапогами и оказался около стеклянного помеще-

[13] Деревянные туфли. Часть национальной одежды ряда стран Скандинавии и Прибалтики.

ния. Внутри виднелись лица, пожирающие резиновые подошвы и вливающие в себя декалитры ледяных химических напитков. В руках они держали флажки и воздушные шарики. На головах сидели бейсболки, а пивные «мозоли» обтягивали ковбойки и майки с желтушной буквой «М». Взгляды «пастухов» были дегенеративны, но по-своему счастливы; в бодрых перечавкиваниях картошки фри чувствовались свобода и независимость. И от ума, и от здоровой пищи. Ибо если «серебряные» нити харчующихся просто лоснились от жира, то их губы были измазаны машинным маслом. Вода «Perrier» их не интересовала, они предпочитали травиться микстурой «Col'ы». Рядом же с помещением происходило какое-то унылое копошение в виде вялотекущего пикетика с пятью-семью сонными бастующими, вооруженными «серебряными» нитями в виде шестов с транспарантами: «Скажем жральням – нет!», «Поджелудочная железа не регенерируется!», «Долой панкреатит!» и «MacDown – не пройдет!» У нескольких «серебряные» нити были в виде взлохмаченных штандартов на древках. На штандартах – непонятная геометрическая фигура с еще менее понятной аббревиатурой: «ОТК». Около них стояла заряженная краской пушка-брандспойт, направленная в сторону трапезничавших.

Командируемый хотел было войти внутрь, но вдруг из яркого ресторанчика с душой низкосортной столовой вышли, переговариваясь, два криминальных лица – кудрявый черный и носатый белый, очень похожий на осла. У обоих «серебряные» нити были «желтыми», цвета низкопробного чтива.

– Ты знаешь, как я называю гамбургер? – спрашивал белый.

– «Королевский размер»? – вопрошал черный.

– Нет, «подошва».

– Не «King Size»? – удивлялся собеседник.

– Нет, просто подошва.

– Что, вот так вот? Просто подошва?

– Да, просто подошва.

– Просто подошва? – в энный раз переспросил чернявый. – Странно…

– Ага, просто подошва. Давай в «Граммофон» прошвырнемся. По бифштексу с кровью схаваем. Если под лимоном, конечно, нароем. А то я после этой тошниловки жрать хочу… И рези в пузе задолбали… – Ословидный, застрекотав ушами, махнул рукой в сторону огромной искрящейся вывески, но вдруг резко остановился, согнулся над мусорным ведром и со стоном «фи-и-и-кция» стал выворачиваться наизнанку.

Флёр отскочил в сторону, посмотрел в направлении, которое указал ословидный, и направился к неоновой вывеске, нависшей над стеклянной дверью. Чуть поодаль от входа, сплевывая зубы в кулак, покачивался кто-то шатко-валкий и трипогибельный – с кровоточащей «серебряной» нитью. Рядом с ним валялась разрезанная надвое пластиковая «золотая» VISA. Подбадривая себя, он щербато цедил: «Кровохарканье – это всего-навсего выделение крови с мокротой во время кашля». Дверь на фотоэлементах распахнулась, командируемый, мельком взглянув на кривляющиеся разноцветные буквы кабаре «Граммофон», вошел внутрь и оказался в проспиртованном фойе.

Около двери – напротив игрального автомата, из которого не переставая сыпались арахис, фундук и грецкие орехи, стоял *однорукий бандит* с гранитной шеей и скулоизбыточным лицом, с плеч до щиколоток обвешанный гирляндами из чернослива, фиников, урюка, инжира, хурмы и фейхоа. Левый рукав бандита был заправлен в карман, в правой длани он держал телефонную трубку и истошно орал:

– Jack Pot!!! Jack Pot!!! Пот Джека!!! Накрывай на стол – полакомимся!

«Серебряная» нить у него была покалечена и имела форму пустого рукава. Флёр боязливо обошел его стороной и, озираясь, остановился. На него двигались четверо, издававшие странные звуки: «…pirs-pirs-pirs… хлясть-хлясть-хлясть… tattoo-tattoo-tattoo…» Командируемый посторонился и пропустил маленькое катящееся пирсинговое колечко, плеточку

с усиками и каких-то двух размазней с вывернутой ориентацией, оказавшихся кусочками татуированной кожицы. Словно сиамские близнецы, размани, клавиатуря друг друга вялыми пальчиками по до конца не сформировавшимся выпуклостям, тащились в обнимку и мычали какую-то психопатическую чушь про то, что «их не догонят». Примечательно, но за ними никто не гнался и, по всему, даже не собирался. Сработали фотоэлементы, и четверка, уничижающе посмотрев на немодного Флёра, исчезла в темноте: цвет и форму их «серебряных» нитей командируемый не разобрал.

– У нас закрытый вечер. Пригласительный есть? – раздался сбоку хриплый голос, и тяжелая рука легла на призрачное плечо.

Флёр повернулся. В лицо ему ударил кислый запах щей, пельменей с луковым соусом, шкварок, паленой водки, запущенного кариеса и многолетнего гастрита. На него недобрым взглядом смотрел швейцар в засаленной ливрее с бесцветными галунами-солитерами. Из отставных. Ресторанный цербер ковырялся в зубах вилкой и имел чрезвычайно задумчивый вид. Часть бороды состояла из капустных лепестков, другая – из табачных крошек. Кое-где можно было заметить жиденькую поросль. Сам собой напрашивался закономерный подловатый вопрос: «А что это у вас, сударь, в бороде такое вкусное?» «Серебряная» нить у него была в форме свернутой в трубочку денежной купюры – малого, *пропускного*, достоинства. Он флегматично огладил «богатую» бороду, обнажив ряд кривых прокуренных зубов, *ливерно* улыбнулся – смахнул с губ колбасную крошку – и процедил:

– Безбилетник? А вот я тебя в органы дознания. Эй, широкохваты!!! – И, лениво позевывая, повлек его к выходу.

Около командируемого тут же появились голодно клацающие зубами типы из секьюрити – с кровожадными «серебряными» нитями. Два капкан-молодца – приземисто-кряжистый с череповатым личиком и короткостопый с неестественно длинными руками. Один – на крупного зверя, другой – на ласку. Оба с отпечатками интеллектуального, нравственного и эмоционального безобразий на лицах.

– Нельзя мне в органы! Командировка горит! – упираясь, заголосил Флёр. Капкан-молодцы тотчас расступились.

– В Запределы? – Швейцар убрал руку, окинул его с головы до ног каким-то потусторонним взглядом и промычал: – М-да… Дела. Проходи. За резервный.

– Да я посмотреть только… У меня и денег-то нет.

– «Граммофон» угощает. Командируемые бесплатно.

Он слегка подтолкнул Флёра к дверям, передал с рук на руки изгибистому официанту с порочным лицом без подбородка, а сам направился к полутрезвому работнику плаща и дубленки с «серебряной» нитью из монеток, уминавшему за гардеробной *виселичной* стойкой кровяную колбасу. Завидев швейцара, гардеробщик заглотил остатки деликатеса, нервно зашуршал газетой и, сбивая на своем пути плоды номерков, ринулся к *повешенному* песцу в углу гардероба. Мгновенно выудил из-под его полы припрятанный магарыч. Неотрывно следя за швейцаром, который, не добежав до раздевальни, вдруг развернулся и по долгу службы метнулся к дверям, гардеробщик жадно припал к горлышку и высосал всё без остатка…

Сопровождаемый официантом с пристальными глазками и *при-стольным* изгибом, Флёр вошел в раздираемый пьяным угаром зал.

Играла издерганная рваная музыка. «Серебряные» нити переплелись. Конфетти сыпалось. Мюзле[14] кривилось. Брют пенился. А «Граммофон» гнусавил.

Икра свисала с боков столешниц гроздьями рябины.

Рябило.

---

[14] Мюзле (*франц.* muselet – проволочный предохранитель) – каркас из мягкой металлической проволоки специальной конструкции, используемый для закрепления пробок в бутылках с игристыми и шипучими винами.

– Вискоза! Вискоза! – кричали восседавшие за круглыми мраморными столиками, освещенными матовыми лампами-шарами, набриолиненные и бритоголовые типы в дорогих, но безвкусных бордовых костюмах, с мощными часами-наручниками на запястьях. Из-под расстегнутых рубах выглядывали золотые цепи с крестами. Туфли крем-брюле, пальца в растопыр, галстуки удавкой. Они чокались, лобзались, бахвалились. Глазные яблоки поблескивали мутным кафелем, керамические надраенные рты напоминали хоть и дорогую, но всё же сантехнику, а на хрустящие воротнички, правда, с грязноватыми полосами, само собой напрашивалось клеймо «WC», которое смотрелось бы на них более органично и естественно, чем на дверях кабачных сортиров. Что касается галстуков, то их хотелось заменить на пипифаксы и, разматывая рулоны, обворачивать и обворачивать вокруг шей… Лиц у существ, иссушенных химией и захлебнувшихся в водке, не наблюдалось. Все были абсолютно одинаковыми, и в люминесценте огней отсвечивали малиново-сизым.

Лишь некоторые из них, фурункульно-угревые, с «серебряными» нитями цвета золотых перстней с *о-печатками*, одетые по последнему писку в классический спортивный стиль – «кырпычные пинджаки», «вязатые г-г-алстухи», маннокашие кроссы с залубеневшими от пота носками, треняши с лейблами, а лейблы с хроническими ошибками, – слегка выбивались из общей массы. По их напряженно умствующим лицам – «породистые» низкие лбы, с мягко переходящими в ежик бровями, «точеные», вмятые в основание черепа, профили, многоэтажные подбородки, заплывшие от водки малоинтеллектуальные взгляды – несложно было догадаться, что «мозг есть мышц», жизнь измеряется в промилле алкоголя, а самая длинная и потому недочитанная книга так и вовсе – «Букварь».

Около них, запыхавшись в попытках найти нужный ракурс, сновали Перфораций в седом смокинге и шустрый Быстродей-Полароид в хамелеоновом, хромающем цветами, пиджаке. Однако стоило Перфорацию уловить момент, как тотчас выстреливали бутыли, и пробки попадали прямо в объектив. После проявки на таких фотографиях должны были получиться свиные рыла в шампанском. На полароидных снимках Быстродея запечатлевались только вывалившиеся, измазанные майонезом, языки и вбитые в лица пятаки. Иногда, по просьбе позировавших, Быстродею приходилось делать на снимках надписи. Из-за чего он испытывал большие трудности. При этом бронелобые, соревнуясь размерами цепей, рвали на себе рубахи и во все свои жалящие глотки орали: «И шоб гимнаст, гимнаст влез!!! Мой распятей!» Сборище напоминало пчелиные соты, в которых жировали осы.

Казалось, что сидит кто-то один – огромный и бесформенный, отечный и обезличенный, одновременно накрахмаленный и потный, пахнущий дорогой туалетной водой и писсуаром, с вензельным платком и с каймой под ногтями, наложивший табу на нормальную речь, а потому изъясняющийся веерными знаками и горланящий что-то про материнскую плату. Пальцы не сходились – мешали печатки. Мысли путались – мешали мозги. Слова бессвязно повисали над заплеванными скатертями.

«По разбору, баклан, соскучился?! Кто кого кинул? Ты мне сто тонн еще должен! Не гони фуфло, гнида! Долг платёжкой красен! Закрой хлебало, я сказал! Я в тендерах не участвую, я их покупаю! Сам урод! Короче, так… Слуш сюды… Включаю счетчик… С утра не проплатишь – вечером либо фирму на меня перепишешь, либо ляльку свою отдашь! – кричал один из *обезличенных* в трубку, брызгая семужьей икрой на зерна-кнопочки телефона. – Иди ко мне, моя кур… курочка. Вот я тя… Офьсянт, литруху! Г-хх-а-а-рс-о-о-н, ядрена вошь!!! Водяру гони! – И рука в тяжелом браслете ложилась на ажурную ляжку дамы с *клеймами* – в синяках и в ссадинах. – Сколько за час? Беру на ночь!.. *Менуэт*? Нет, не танцую. Ах, *это*… Как звать тебя? Лайкра? Красиво. Меня? Золотарь. Шо тоже… Хошь визитку-вензельку дам? На. У меня их тыщи… А ты думала! Он самый – Генеральный Ассенизатор. В виньетках! Суть? Золото качаем. Баррелями… Баррелями, но самовывозом… Сказать, из чего баррели?.. Я, между прочим, этот… как его, бишь, зверя этого?.. Во! *Мыцынат*… У мя даже благотворительный фонд

для отмыва имеется – „Золотая жила ассенизатора“… Для традиционной, блин, благотворительности да, блин, этой, как ее, стерву?.. Венчурной филантропии… А? Чего? Громоздко? Это как? А… понял… Зато искренне. А я за искренность. Но шо это мы о работе да о работе… Ох и бретельки у тебя… А это у нас шо такое? Ах, пояс. Очень это даже… цел… цел… целомудренно… Снять!» – И амур, расправляя жирные покатые плечи, натягивал вялую тетиву.

Быстродей тем временем щелкал полароидом и делал надписи, а Перфораций, заприметив среди выпукло-вогнутых запотевших Линз Слайдика, внука Дагерротипа, от выпитого – прозрачного, от съеденных «Оливье» и «селедки под шубой» – разноцветного, подскочил к нему и, прихватив за галстук, начал строго выговаривать:

– С кем поведешься, с тем и сопьешся…

– Ик, ик, – раздавалось в ответ.

– Доложу деду, – не отставал Перфораций, от которого подпорченный Слайдик прятал глаза и пытался, точно фотопленка, скрутиться в рулончик. – Смотри, у тебя еще «серебряная» нить даже не оформилась, а туда же…

– Ик…

– Ну тебя! Недопроявленный. – Перфораций сердито оттолкнул Слайдика, отчего тот, потеряв равновесие, упал со стула и так и остался лежать между исторгающими сырный запах разноразмерными ногами жирующих, а сам направился помогать Быстродею.

– Вискоза! Вискоза! Попросим, господа! – толстомясый конферансье в смокинге, составленном из компакт-дисков, с плоским лоснящимся лицом и затравленной «серебряной» нитью поправил бабочку на мутном заезженном воротничке и уступил место вялой, завернутой в целлофан девице.

Девица была бледной и какой-то обездоленной. Острые коленки, шиповидные локотки, выступающая рамочка ключиц. Лениво потряхивая воробьиными перышками жидких плохо выкрашенных волосков, она сиротливо переминалась под заунывную музыку около вонзившегося в потолок эрегированного стального шеста, с которым явно не знала, что делать: то ли поелозить по нему межножьем, то ли почесать о него спину, и под горловые бухтения зрителей нехотя разоблачалась. Целлофановая обертка, словно длинная, тягучая слюна, которую пускал сквозь фарфор зубов *обезличенный* Генеральный Ассенизатор, медленно сползала на сцену. Девица извивалась – «серебряная» нить у нее была вязкой и скучной. Ее не хотелось – ее жалелось. Вплоть до того чтобы скинуть с себя шевиотовый пиджак, набросить на колючие плечи, приголубить и тихо так, в ушко, заботливо прошептать: «До чего ж ты себя довела, сиротко… Давно ль из приюта? Идем, я тебя копчеными щековинами с пивом угощу… Сразу в тонус войдешь… А может, горяченького хочешь? Как насчет глинтвейна с яблочным пирогом?.. Вон – продрогла вся… Суконце ты мое залатанное… Или просто… борща с сальцем да чесночком, ты как?.. жировая пленка и ветчинная прожилка?.. В момент отпаришься… Да не стесняйся, не стесняйся, сирая… Я сегодня при „лавэ“… Извини за убогий язык – при деньгах я, простынка ты моя лоскутная… Впрочем, тебе понятней первый вариант – ущербный… Песнь ты моя… не спетая…»

Тем временем *обезличенный* не терял времени даром. Рука его была под столом и теребила пероксидную шевелюру большеглазой и влажногубой Лайкры, которая, со стороны казалось, искала среди объедков и костей завалявшуюся шпильку. «Хваты подбери, кому говорю, подбери хваты», – изредка наставлял он нерадивую, побрякивавшую дешевым драже бижутерии одалиску.

Быстродей швырнул на стол несколько фотографий с наспех сделанными надписями, выхватил протянутые купюры и, утянув за объектив пузырящегося в шампанском Перфорация, покинул зал.

– Я еще не отснял пленку! – упирался тот, на ходу щелкая аппаратом.

– Бежим, говорю. Чем толще извив цепи – тем тоньше извилина. Не так поймут: нас потом самих и отснимут, и проявят… в серной кислоте.

– А что ты там написал? – поинтересовался Перфораций, и Быстродей рассказал ему о надписях.

На одном снимке, оставленном Быстродеем, была запечатлена бутылка водки и удаляющаяся ноздря. Фото именовалось: «Я и абсолют». «Я» – с большой буквы, «абсолют» – с маленькой и без кавычек.

Вторая фотография была групповой: между двумя гунявыми размывами сидит придушенная *бледнокудрая* Лайкра с пероксидной челкой-чупруном на один глаз и брошкой на груди в виде «ночной бабочки». Одно кулаковидное пятно держит на излете вилку с рыбиной, другое – кастетное, с раскатанными губехами, размазывает по лицу панельщицы тушь. Фото – «Мы с севрюгой».

Третья и четвертая были скромными. Одна полностью черная, другая – алая. Назывались они одинаково – судя по всему, тут Быстродею воображение отказало: «Икра – три литра».

Пятая же отображала некоего брюхатого типа, пытавшегося заглотить микрофон, повернувшись к экрану «Караоке». Именовалась она изысканно, но была с ошибкой, сделанной Быстродеем сознательно: «Ланфрен-*вольфрам*».

– Эти? – ухмыльнулся фотомастер, ознакомившись с текстами. – Не переживай. Поймут. Поймут, как *им* надо. Даже похвалят. – Но всё-таки подчинился и пошел за коллегой, напоследок развернувшись и двумя ударами добив свою пленку: «Клац! Клац!»

Вскоре Вискоза, опустив очи долу, жеманно дернула хрупким, почти детским, плечишком, повернулась спиной к разгоряченной публике; показались крупные горошины тощего сколиозного позвоночника, танцовщица стыдливо шевельнула костлявым тазом, целлофан окончательно сполз на сцену, беззастенчиво обнажив попку в ямочках и потасканные, бывшие в употреблении ножки, и вдруг…

…Вискоза исчезла.

Пиджак ей так и не понадобился – ни шевиотовый, ни твидовый, ни тем более коверкотовый.

Раздались дохлые аплодисменты, раздирающий ушные перепонки свист и копытный топот ногами.

– Отстой! Верните бабки! Ты на кого батоны крошишь?!.. Даешь шмару topless!.. Баттерфляя энтомологам! – волновалась обманутая публика. Конферансье выскочил из-за кулис, извиняющимся жестом подхватил липкий целлофан, поймал на лацкан смокинга запущенные с первых столиков балык и баклажан, низко, в пуп, поклонился и подобострастно зачастил в микрофон:

– Премного, премного… Я рад, что вам понравилось. А теперь – наши прелестные танцовщицы! Целлюлоза и Глюкоза! Поприветствуем, господа! – И, посверкивая исцарапанными CD смокинга, бодренько засеменил в сторону кулис, с изображенными на них в самых откровенных позах стрип-моделями.

– Тебе это так не пройдет! – послышались агрессивные выпады с задних рядов.

Но кто-то сидящий впереди, с более дорогим мобильным телефоном и более заплывшим взглядом, с толстой «серебряной» нитью цвета плавленого сырка, выпирающей из расстегнутой до ремня рубахи, за которой обнаружилась майка в сивушных узорах, развернулся, опрокинул в себя стопарь водки, закусил *малосочным* огурцом, дулами глаз прошелся по залу… Крики потонули в не терпящем возражений: «Цыц, кодла! Дюзну в грызло!» Копчик огурца – *огурок* – полетел в сторону галерки, и все притихли.

– Чего изволите? – выгнулся сквернолице-хитрозубый официант с *чаевой* «серебряной» нитью, усаживая Флёра за дальний столик, стоящий около приоткрытой двери, на которой

горела бубновая вывеска с красивым для непосвященных названием: «Казино «Катран»[15]. За столом уже сидел какой-то древний старец с изрезанным временем пергаментным лицом и клевал носом над глиняной кружкой с пивом.

– А что у вас есть? – в свою очередь спросил Флёр, мельком взглянув на старика, под стулом которого стоял ящичек с ручкой.

– Самое изысканное, – елейным голосом проворковал официант с *половым* цветом лица, развернул меню с прейскурантом цен и сверкнул искренне неискренней улыбкой.

Волосы на его треугольном черепе были разделены на пробор и смазаны подсолнечным маслом. Красно-огненная шелковая косоворотка с безразмерными рукавами, в которых без труда можно было спрятать бочки с соленьями, котлы с варевом и прочие баки с харчами и емкости со снедью; саржевые шаровары цвета золы с острым запахом колбасных колец; навакшенные, *сажевые*, сапоги «бутылками» с объемными голенищами, в которых не раз выносилось и сухое, и полусладкое, а также перекинутый через руку утиральник, расшитый истошно горланящими петухами, завершали иллюстрацию к брошюре «О вреде холестериновой пищи». Для полноты картины не хватало только щеголевато-шикующего скрипа сапог. Но вместо сухой бересты, которую некогда закладывали в обувь жуликоватые сапожники, между стельками и подметками капустными зелеными листами лежали банкноты, отчего официант казался выше ростом, но о причине этого, кстати, не догадывался, поскольку сапоги перешли к нему от проворовавшегося коллеги. До того ж он шастал по залу «Граммофона» в застиранной сумбурного цвета t-short'ке с номером «ОО» на спине и «волосатым»[16] сердцем в груди. В дерматиновых кроссовках и невнятных однострочных джинсах без ярлыка, прикрывающих безволосые женоподобные ноги с бодрой филейной частью. Но зато с пластмассовым ведром, на боку которого нагло лучилась неимоверных размеров, с чьей-то грязной пятерней посредине, звезда, и шваброй с поблекшим штампом на древке в виде едва заметного золотого диска с воткнутой в него иглой. Сейчас же на спине его рубахи красовался гордый раструб граммофона, из которого вылетали ноты, больше похожие на колбасные обрезки, вырывающиеся из мусорного контейнера.

Командируемый посмотрел на цены и от удивления открыл рот.

– Это что? – осведомился он, показывая на цифры. – Номера двигателей?

Официант сделал невозмутимое лицо, сверкнул жирной биссектрисой пробора, загнул вороватую ручку к пояснице и помпезно провозгласил:

– «Граммофон» – лучшее заведение в Здании.

– Но позвольте, это же нельзя есть, – возмутился Флёр. – Что значит «курица в шоколадном соусе» и «сельдь в инжире с кремовой начинкой»?

– Да, да. Самое новомодное, – улыбнулся официант.

– А, изыски, понимаю. Нет, ну надо же! «Икра паюсная с марципаном и сахарной пудрой». Скажите, может, комплексное что-нибудь есть? Биточки? Бульончик? Компот?

– Комплексного не держим… Только консоме… Впрочем, если вы горяченького хотите… есть чесночный суп с базиликом, суп из жерухи[17] с салями и зеленый суп с крутонами[18]… Предупреждаю, всё со сладкими ингредиентами…

– Салями – с солями? – Командируемого разговор начал слегка забавлять.

– С тертой халвой… – не поведя бровью, ответил гарсон. – К супам – эклеры и зефир. По выбору.

– Замечательно. А что такое «крутоны»? Уж не гренки ли?

---

[15] Катран *(блат. жарг.)* – игорный притон.

[16] Употр. применительно к вору, ничтожеству *(блатной жаргон)*.

[17] Жеруха – растение семейства крестоцветных, садовый хрен.

[18] Крутоны (*франц.* crouton – корка) – гренки длиной или диаметром 31/2 – 41/2 см, чаще из круп, а также название десертных блюд из хлеба и сладких фруктов (засахаренных или сваренных в сиропе).

Официант нервно передернул плечами, и языки пламени на рубахе возмущенно задрожали:

– Признаться, не интересовался. Но ради вас узнаю. Заказывать будете?

– Нет, знаете ли, я, пожалуй, просто выпью чего-нибудь.

– Пиво со взбитыми сливками? Водка мармеладная, леденцовая, с фиалковой эссенцией, с запахом настурции, цвета распустившейся розы? – официант подобострастно изогнулся, огнистые языки лизнули Флёра прямо в лицо. Тот резко отпрянул и потер обожженную щеку.

– С жиру вы все беситесь… *безднадежные*, – на миг подняв голову, молвил сидящий рядом старик и вернулся в исходное положение – носом к пивной пене. Официант, руководствуясь принципом, что клиент всегда прав, но не всегда трезв, сделал вид, что не услышал сказанного.

– А просто воды у вас нету? – спросил Флёр, закрывая и возвращая официанту *разблюдовку*.

– Естественно. Даже несколько видов. С корицей, гвоздикой… Перечная.

– А с лавровым листом?

– Не завезли.

– Жаль. Тогда с корицей. Только корицу отдельно, – заказал командируемый.

– На блюдечке или в салатнице?

– Пожалуй, на блюдечке.

– Воду из чего откушать, изволите?.. Хайбол? Флюте? Гоблет[19]? – не унимался подавальщик.

– Как-то не знаю, – засомневался Флёр. – Может… в фиал[20]?..

– Не учитесь вкусу у халдеев! – оторвавшись от пены, одернул его старик. – В стакан ему…

Командируемый иронично глянул на последнего и, согласившись с репликой, утвердительно кивнул.

– Будет исполнено, – щелкнув каблуками и строчнув в блокноте, отозвался *подносочный*. – Что будете на десерт? Абрикосовое желе с орешками и свиным хвостом или мороженое с апельсиновыми дольками и форшмаком? Настоятельно рекомендую, по новейшему рецепту.

– Спасибо, я на диете. Вот лебеды бы неплохо…

– Кончилась. Кофе, чай будете? – Огни рубахи начали постепенно затухать.

– Кофе с цедрой и ложкой уксуса? А чай со сметанкой и кетчупом? – заерничал Флёр.

– Нет, кофе без цедры, но с тмином, а чай с табаско и мускатом.

– Откажусь, пожалуй, – ответил Флёр, откинувшись на спинку стула.

Опечаленный официант удалился – угли рубахи «с косым воротом» сердито зашипели, будто на них выплеснули половник воды.

– Издевается он, что ли? – произнес вслух командируемый.

– Зря вы так, – подал голос старик. – Это же всё от безысходности. – Он распрямился, не спеша глотнул колючего пива и вытер рукавом сизые губы. – Их пожалеть надо… Эх, молодо-зелено. Старость не в радость, молодость – гадость. Кстати, с кем имею честь праздновать апокалипсис – он же праздник печени?

– Флёр. Отдел лингвистики.

И тут, повернув голову, командируемый заметил восседавших за одним из столиков приодетого Баланса, мадам Фактуру в кожаном макси-переплете с золотым тиснением, фиксатое Фискало с *противным* телосложением и двух гаденько хихикающих субъектов, напоминавших

---

[19] Хайбол – универсальный стакан объемом от 240 до 360 мл; флюте – бокал для шампанского; гоблет – высокий бокал для коктейлей.

[20] Фиал – у древних греков и римлян – плоская чаша для питья и возлияний во время жертвоприношений.

обручальные кольца. Баланс понуро лежал на скрещенных чашах своих рук и всхлипывал. Фискало и мадам Фактура, пьяно обнявшись, лобзались и гундосили романс о финансах, поющих романсы. Как только чаши Баланса наполнялись медяками, «обручальные кольца» разводились, превращаясь в наручники, но стоило чашам вновь наполниться купюрами, *гаденькие* вновь сливались в брачном союзе, начиная золотиться и искрить до гробовой *тоски*:

– Я ставлю, ты платишь, – говорил один другому.

– Я похож на альтруиста? – вопрошал второй.

– Вроде нет.

– Так чего ты от меня хочешь? – искренне удивлялся напарник.

– Хорошо, тогда делаем так: ты – ставишь, я – плачу̀. Тю, подожди, у меня тоже нет денег. Придумал: мы – ставим, Балансик – платит. Баланс, шампанского хочешь? Тогда иди и купи нам всем. Гэк-гэк… Мы – ставим, Балансик – плачет… Внимание, Баланс! Фискальный сбор: с миру по нитке, с Баланса – рубашку. Кэк-Кэк… Только много не покупай – мне много нельзя. Четыре бутылки выпиваю, и изжога начинается… Так что смотри не загнись там, от щедрот своих… и помни… мы мзду не берем, только шампанским… ибо деньги – это презренный металл… Хэк-хэк…

Отголосив, мадам Фактура и Фискало в свою очередь тоже принялись плести сложный узор задушевного разговора. Расчувствовавшаяся мадам лепетала:

– Нет, возьмите… Я вас умоляю… Маленький презент…

– Что вы, что вы… я при исполнении… – вяло отмахивалось Фискало.

– Обидите… Прошу вас… В качестве сувенира… – медоточивым голосом ворковала заведующая финансовым отделом. Наклонив голову, мадам расстегнула фермуар-застежку на ожерелье и, заструив голосом с переливом, не к месту выдала: – У-мо-о-ля-я-ю… По-ожаа-луй-ста… Да и не последнее, собственно… – окончательно запутавшись в сложном макраме беседы, Фактура прикусила кожаный язык, но было уже поздно.

– Ну, так тому и быть… Убедили… Но разве что в качестве сувенира.

И Фискало приняло из рук мадам скромное монисто из золотых монет, которое, толком не оценив, привычным движением опустило в карман.

– Не последнее, говорите… золотое тиснение… Что ж, учтем… – вперившись мертвым взглядом в мадам, многообещающе проронило Фискало. И в ее злых алчных глазках появилась извивающаяся, прижатая стоеросовой дубиной змея без видовой принадлежности – $.

– Ничего не понимаю, – обомлел командируемый.

– Тут давным-давно *никто ничего* не понимает… – прошелестел старик. – Мозги-то у нас есть, ума – нет… Так как вас там, вы сказали?..

– Отдел лингвистики. Флёр.

– Да, да, все мы здесь в каком-то смысле химера – замуж поздно, сдохнуть рано, – перехватив взгляд командируемого, направленный в сторону заарканенных служак финансового отдела, которые Флёра игнорировали, прошептал старик, протянув ему руку: – Имею честь представиться: Амадей Папильот.

Амадей Папильот

Амадей Папильот был в концертном, давно потерявшем лоск, платье. Локти на рукавах протерты. Туфли стоптаны. Подошва зевала. Ветхое пенсне треснуло. Свалявшиеся сиреневые букли падали на слабые пожившие плечи. Голос у него был скрипучим, как у расстроенного музыкального инструмента. Однако, несмотря на то, что Амадей казался очень старым, в нем не было ничего старческого: «серебряная» нить отливала мудростью и имела форму юного, стройного, звонкого, но, как всё молодое, немного злобного и вздорного смычка.

– Странное у вас имя, – заметил Флёр, пожав узловато-сучковатую руку.

– У вас у самого не ах, – ответил Амадей Папильот. – И вообще, ничего странного в этом нет. Просто вы не застали то прекрасное время, когда в Здании не было ни Вискоз, ни Клофелинов, ни Аммонитов, ни Тротилов с Гексогенами и Пластидами, ни прочей нечисти, типа этих, как их – о! – Маркеров-пачкунов… Что и говорить, горды имена нынешних героев… Золотари… Беспросветные, беспробудные золотари… *Е-стеблишмент*… Будки в галстуках… Куцая мода и куцые взгляды… Виниловая одежда, виниловые лица и виниловые мысли…

– Понятно. Ваниль, словом, – оборвав старца, усмехнулся Флёр.

– А вы не перебивайте, – окрысился Папильот. – Знаете, у меня в последнее время складывается впечатление, что в нашем Здании зрячие идут за слепыми, полагая, что это сами они слепые, а те, ведущие, – зрячие. Вот вы, по-моему, из первых…

– Простите, – смутился командируемый и спросил: – А вы давно в Здании?

– С самого изначала, – недовольный тем, что ему не дали до конца высказаться, ответствовал Амадей, вытирая губы. – Я тогда еще отделом музицирования заведовал, потом был выгнан по собственному желанию. С волчьим билетом, естественно. Как говорится, вчера я ел форшмак, сегодня я – «фиршмак»[21]. Ведь мне и в архиве посидеть пришлось – за чужие проделки. Знаете, как бывает: кто-то всегда должен сидеть, а «чалку одеть»[22], как известно, легче всего тому, кто за себя постоять не может. Впрочем, всё это в прошлом, – Амадей Папильот тяжело, туберкулезно, закашлялся, – и сейчас вот – спиваюсь… Музыка-то везде с гнусью. Два аккорда – три аб… аппорта, я хотел сказать. Очень под нее набираться хорошо… Благо, для меня по старой памяти вход бесплатный и пиво без извращений… А может, и вину свою подсознательно чувствуют, кто их знает… Жалеют? Впрочем, что такое жалость, они не знают.

– Вас сюда после реорганизации направили? – спросил Флёр.

– Нет. После продажи. Здание же несколько раз продавали.

– Простите, не понял, как продавали? – командируемый нагнулся к старику.

– Просто – из одних рук в другие. Ну, как девку гулящую.

– Разве такое возможно? – усомнился Флёр.

– А что ж вы думали, мы единственные на свете? – Амадей Папильот задумчиво и надолго приложился к кружке.

– Постойте, постойте, так получается, что мы всё-таки не единственные?! – радостно воскликнул командируемый.

– Мало того, – оторвавшись от кружки, произнес Амадей Папильот, – мы не единственные, кто на этом свете не существует. Именно – не существует. Всё, что с нами происходит, колобродит само по себе, а мы лишь играем роль актеров, вызубривших роль, но не отдающих отчета в том, что эта роль написана не нами. Мы – марионетки. Куколки. Пустышки. Ну, вы меня должны понимать. Старо как Здание.

---

[21] Фиршмак *(блатной жаргон)* – опустившийся человек, неряха.

[22] Чалку одеть *(блатной жаргон)* – быть приговоренным к лишению свободы.

– Простите, не понимаю… Мы же движемся. В конце концов, мы чувствуем и создаем. Значит…

– А ничего это не значит. Химера это всё. Серпантин. Шутиха. Мишура. Мы – не живем, мы – экзистируем… Кому – бутик, кому – развал поношенной одежды… Жизнь цвета рваной мешковины, дыхание – в рассрочку… – угрюмо произнес Папильот. – Вот я вам пример приведу. Когда-то работал я в отделе музицирования. Не могу сказать, что был талантлив или даже способен, но, по крайней мере, занимался тем, чем хотел, и для чего, по-видимому, Кем-то создан. В Здании я был в почете, концерты мои многим нравились, да и сам я, признаться, думал, что суть моего существования заключается в том, чтобы не путать тамбур с тамбурином, а тимпан с тампоном. И я отдавал себя всего музыке. М-да… Я имею в виду большую музыку – вальсы, фокстроты, тустепы. И чем же всё закончилось? Продают Здание, а вместе с Ним продают и мою жизнь. Вместо смычка суют в руки шарманку, открывают в концертной зале злачное заведение, выставляют меня за кулисы, назначают администратором какого-то выскочку, места Скрипок и Виол занимают Вискозы и Целлюлозы, в партере ставят столы со скатертями, вместо пюпитра с нотной тетрадью – меню, вместо стаккато – стаканы, помпозо заменяет попса, стрепитозо – стриптиз, фурьезо[23] – курьезы… блевота и мокрота, словом. – Амадей перевел дыхание. Флёр молчал. Папильот продолжил: – Знаете, раньше свистели, выказывая недовольство, теперь свистят – выражая восхищение. Не музыка, а сплошное *вибратттто*. Этакая икра музыкальная: на зубах лопается, в душе – соленый привкус остается. Что и говорить, сменились времена – пришла мода: скоро будем не бороды, а ноги брить, и носки вместо ночных колпаков на черепа натягивать. Из личностей в личины превращаться – в рафинированное быдло и элегантную кодлу… Заметьте, у них даже не имена сценические, а кликухи какие-то… Были б звезды, а то всё больше блестки дешевые… Впрочем, вам это неинтересно. Так вот, скажите, пожалуйста, можно ли на моем примере утверждать, что я живу и являюсь полноправным хозяином своей жизни? Нет, нет и еще раз нет! Я просто жалкий Амадей Папильот, у которого забрали всё, – нет, не только парик, чулки и сюртук, у меня их, собственно, никогда и не было, – у меня *меня* украли!.. – с этими словами Папильот надолго припал к пивной кружке.

Сквозь посербыванья слышалось невнятное пение старика. Амадей тихо подвывал фонограммному шлягеру, тягучей нерифмованной субстанцией прилипшему к стенам шалмана, словно плевок:

Они блестяще понимают друг друга:
уютный Флис и прохладная Орга-а-а-нза-а-а-а…

Песенка изредка перемежалась чуть слышными нудными комментариями Амадея: «Эх, дебри, эх, тьма… Здесь флис-органза[24] как флюс оргазма… Здесь рожи как гимны, а гимны – как рожи… Здесь каракули выдают за каракуль… Здесь смех кончается слезами – гримасы тут прикрыты лыбой…» И, наконец, громкое: «Здесь триумфальный марш покрылся свистоплясом!!!»

Тем временем Флёру принесли стакан воды и корицу на щербатом блюдечке.

– Сервис… – кивнув на блюдце, ухмыльнулся Амадей Папильот. – Раньше такого бы себе не позволили. А еще «гоблет», «флюте»… Тьфу на вас, не ругаясь… Вот я и говорю, украли, – всех нас у себя же и украли, – Амадей неожиданно трезвым взглядом посмотрел вглубь зала. – Лица – удавиться. Вы знаете, кем раньше были эти набриолиненные мракобесы? Эти рожи-

[23] Здесь обыгрываются итальянские термины, обозначающие характер исполнения музыкального произведения: стаккато (Staccato) – коротко, отрывисто; помпозо (Pomposo) – великолепно, с блеском; стрепитозо (Strepitoso) – бурно, шумно; фурьезо (Furioso) – бешено.

[24] Флис, органза – виды тканей.

отморожи? Фейс-морды эти? Знаете, есть экземпляры, а есть особи. Так вот это – особи. Ибо раньше, согласен, денег не было, но звучали имена. И какие! – доложу вам. А сейчас – денег куча, а репутации – ноль. И вообще, как можно сегодня еще барщину с оброком платить, а завтра уже десятину собирать? Объясните мне это.

Он указал на столики, стоящие у сцены, на которой бескровная Целлюлоза, голая, рыхлая и несвежая, скрепя сердце и скрипя зубами, неистово целовалась с никлой *вялоокой* Глюкозой, импровизируя на тему брачной ночи в среде стрип-моделей. Их языки крутились так быстро и громко, что, казалось, работают лезвия двух кофемолок.

Бильярдношарые и не в меру шалые типы пыхтели в унисон шлепаньям плоскостопных ног, раздающимся со сцены, а их пылающие морды расползались по скатертям, точно икра по блюду. На Целлюлозе, кроме фаты и лилового пояса с подвязками, больше ничего не наблюдалось. Глюкоза, вероятно, олицетворявшая «молодого», однообразно переминалась с ноги на ногу, и ее хилые ручки то и дело застревали в аппетитном целлюлите «суженой», чей левый сосок с возбужденной альвеолой напоминал хороводящие родинки с именинником в середине – пунцовым от смущения и настороженным, а правый – кнопку лифта, затертую, расплющенную и от возмущения багровую. Из одежды на Глюкозе остались лишь заштопанные носки и прокисший галстук. Попка у нее выпячивалась злая и вертлявая – эдакие две скрещенные кости с ложбинкой. Бровки были выщипаны, ротик – стервозен. По нервному тику, пробегавшему по тревожному лицу Целлюлозы, и по безумному софитово-наркотическому взгляду можно было сделать вывод, что лобзается она по необходимости, с известным отвращением, и ее вот-вот, точно целлофановый мусорный пакет, вывернет наизнанку. Глюкоза же предавалась этому занятию со рвением, присущим только тем особам, что работают сверхурочно, в свободное время обивая пороги администрации, запамятовавшей выплатить причитающуюся сумму за прошлый квартал. Как и большинство *безысходников*, Глюкоза руководствовалась старым принципом: «Мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят».

Флёр, наблюдая, как стервозные губки захлебываются в поцелуе, невольно «залюбовался». От сцены его оторвал мелодичный, как хрип волынки, голос Амадея.

– Эротика, покрывшаяся эрозией. *Скрип-модели.* Что и говорить, порнушная у нас жизнь, порнушная: длинные ноги и спортивные рожи, суррогаты духов и жвачка с гранулами, нефотогеничные лица и засвеченные души…

– А? – Флёр с трудом вернулся к разговору.

– Вы меня не слушаете совсем! – Папильот обиженно поджал губы. – Я говорю: синтетические платья – синкопические чувства… барби и барбитураты… В том смысле, что культура пластмассовая, и элита такая же – искусственная, надуманная, вычурная… Микрофаза и макроцефалы, одним словом…

– Ну да, ну да… – вяло отозвался командируемый, устремив взгляд на сцену.

– Мокромысли и мерклодуши… – продолжал бубнить Амадей. – Ведь грязь тела – она с нечистоплотности души начинается. Эй, вернитесь!

– Что?! – Флёр дернулся и нервно улыбнулся.

– Повторите, что я сказал, – потребовал Папильот.

– Макроформы, но – микродуши… Что-то в этом роде… Так? – по лицу командируемого прошел легкий тик.

– Почти, – смилостивился Амадей. – Впредь попрошу вас не отвлекаться на разврат всякий. Так вот, возвращаясь… были они всего-навсего мелкими торговцами из подотдела негоции при отделе финансов.

– Простите?..

– Коммерция, торжище, рвачество. В кутюрном цехе украли, в соседнем продали, – пояснил Амадей. – Предпринимательский склад ума – воровской склад души… Шаромыж-

ники с честными лицами… Неизменно-низменная порода… Стр-р-рекулисты![25] – Он сделал такой мощный глоток, на какой был только способен, собрался с силами и, выщелкивая всю горечь, которая накопилась у него за время пребывания в Здании, не сдерживаясь, выпалил: – Изящные черви! Тонизирующие уроды! Элегантные мрази… Тролли в профитролях… Упыри из попурри… Души прекрасные миазмы…

– Ясно-ясно, – Флёр глубокомысленно кивнул, прикрыв рот ладонью. От амадеевских напыщенных сентенций, надуманных острот и натянутых каламбуров тянуло в сон. Подумал: «Вот же щебетун неугомонный. Интересно, надолго его хватит?»

– И вот ведь странно… – чуть успокоившись, продолжил Амадей Папильот. «Надолго», – решил Флёр и принялся внимать. – …Я еще могу понять тот честный до беспринципности и *беспредельно* вежливый молодняк с чирьем интеллекта на лице, который быстро всего добился, вернее, слишком рано урвал и ринулся в беспросветный блуд. Тут всё ясно: пока у вас не мозги, а *мозочки*, покуда путаете наглость со смелостью, а хамство – с гордостью, правильного выбора вам не сделать. Но когда этим же занимаются лица из серьезных отделов, без пяти минут кандидаты и профессора… – Амадей сделал скорбную гримасу. – Нет, не могу понять. Кстати, их столики в самом первом ряду. Интеллектуалы, умницы, светила… А что от них осталось? Рюмки, блюдца и визитки. Богатые, сытые… несчастные, – заключил любитель парадоксов. – И знаете, отчего так вышло? Слабая душевная организация. Интеллект есть, а души-то, как оказалось, нет, или, как бы это выразиться, неразбуженная она – душа. Когда они бедствовали, пытаясь познать тайну Миро-Здания, когда формулы для них казались важнее, чем положение в отделах, всё вроде бы ничего было… Нормальные служащие в серо-мятых потасканных костюмах – в целом, надо сказать, еще приличных. – Амадей потер прохудившийся локоть концертного платья и вздохнул. – Но стоило им чего-то добиться, как вот вам, пожалуйста… бриолин на лысине, *барбистые* лайкры на коленях. Полуфабриканты с полуфабрикатами. Киндер-сюрпризы в фольге. А развернешь обертки да сложишь начинки – киндер-капуты какие-то получаются, – монстры, пожирающие младенцев. А сколько полезного могли принести Зданию! Какие идеи были в головах! И что мы сейчас имеем? Не анфилады и колоннады, а жиртрест с кабинетами на час. В стиле *порокко*. Ибо назвать-то по-разному можно – рауты, сэйшн, суаре, журфиксы, биеннале да файф-о-клоки… А на поверку? На поверку чем всё это оказывается? «Тусовками» да «малинами». Одной сплошной червивой малиной. И ни одного, заметьте, ни одного свежего лица. Но вы знаете, я не виню их в этом. Всё зависит от того, в Чьи руки попадет Здание. Большинство из них глубоко заблуждаются, полагая, что во всём виноват Альбинос. Не Альбинос виноват, а Тот, Кто им руководит. Эх, да что тут говорить… Гениальность и вырождение в одном стакане.

– А кто он вообще такой, Альбинос этот? – рассеянно спросил Флёр, внимательно разглядывая бездушные лица юристов и финансистов, сидящих чуть поодаль, – без мимики, без чувств в глазах, с поджатыми губами, застывшими сургучными скулами, стойким форс-мажором в душах, оправдывающим любые неправомерные деяния, и визитками, наколотыми на «серебряные» нити. «Белые воротнички» ораторствовали, витийствовали и разглагольствовали. Словом, городили всякий вздор, несли чушь и молотили отсебятину. За вывернутыми софизмами и мертвыми сентенциями прожженных дельцов с высоким уровнем интеллекта и низким коэффициентом души чувствовались убогая изнаночная философия, перевернутый вверх ногами «моральный кодекс» и *неинтеллектуальное* право. В каждой фразе – абсурд, коллизии и казусы. В перемигах – двойные стандарты и тройные тарифы. Эдакие зажравшиеся гедонисты, несущие в массы спасительную идею черствой корки аскезы вместо сытного батона с румяными боками, давно варимого их желудками вместе с осетровой икрой и семгой. «Народ, чтобы думал, должен голодать…», «Чтобы двигаться, надо мерзнуть…» – отскакивали

[25] Стрекулист (стрикулист) *(устар.)* – ловкач.

от дорогих клыкастых ртов подворованные афоризмы. – «Клиент есть тупая, злобная скотина, которую постоянно нужно убеждать в обратном…» «Нам, с высшим образованием, платят не за то, что мы делаем, а за то, что мы его имеем…» «Надежный – это тот, кто собирается кинуть тебя по-крупному…» «Чтобы стать хозяином жизни – надо стать слугой народа…» – И в конце – как эпитафия: «Все дороги ведут к уголовному кодексу».

– А бес его знает, кто такой Альбинос, – отозвался на вопрос командируемого Амадей. – Ведь он никакому отделу не принадлежит. Вот вы можете себе представить, чтобы кто-то в Здании не принадлежал ни одному отделу?

– С трудом, – признался Флёр, поразившись увиденным каменным лицам, торчащим из хрустких воротничков рубах, и услышанным ядовитым *хрусткостям*. Ему показалось, что всё это время он смотрел в какую-то ужасную, засасывающую, беспросветную пустоту и внимал гулу гороха в бочке. Меньше всего ему сейчас хотелось принадлежать их отделам. Лучше уж командировка – и не возвращаться.

– Правильно, потому что ни один субъект, находящийся в Здании, не может существовать сам по себе, – похвалил его Папильот. – Он может, естественно, утверждать, что является редким индивидом, который ни от кого не зависит и живет по своим законам, но стоит ему об этом заявить во всеуслышание, как тут же придут добры молодцы в белых халатах, с рубашкой о длинных рукавах, и препроводят его под завязанные руки в архив. Мало того, если вы никакому отделу не принадлежите, то попросту не существуете. Вот вы – командируемый из отдела лингвистики. А сказали бы, что вы просто Флёр… Скажите, и что бы это означало? Ровным счетом ничего. Вы – никто. Дым. Пелена. Призрак. Асоциальный элемент. Нет вам ни уважения, ни места в Здании. А раз вы Зданию не нужны, то от вас просто откажутся. Вначале перестанут замечать, а потом, со временем, вы и сами понемногу начнете исчезать… и будете еще долго переживать, что вас не ликвидировали в самом начале. Есть у нас в Здании бездна таких типов без определенного места жительства и *без дна*, которые ползают по отделам и попрошайничают. Маргинальные-маргинальные такие все из себя. Знаете, почему им перестали подавать? Их никто не замечает. Их просто для Здания нет. Они – социально бесполезны.

– Но это не означает, что их нет в физическом смысле, разве не так? – ошалело спросил Флёр, прислушиваясь к разговору за соседним столиком.

Хорошо поддатый магистр права с мраморным бескровным лицом, но пульсирующими ушами проникновенно увещевал какого-то снулого финансиста от сохи с невнятным цветом кожи и злыми острыми ушами, прикуривавшего сигарету со стороны фильтра: «Жизнь не есть перцепция чего-то вечного… жизнь есть восприятие тленного, ибо тлен, как меньшее в большем, как преюдиция[26] и монада вечного… о!.. ве-чно-го… о-го-го… между прочим… Не согласен? Зря. Ну, ничего. В споре рождается, *muna,* истина». Правовой цербер поднял палец, опустив его в тарталетку с устрицей, брезгливо выдернул, не договорил, вспомнил, что находится не за кафедрой, с горечью глянул на приятеля, смахивавшего после выпитого на финансовую гидру со множеством голов, которым можно было дать имена: «ЗАО», «Цессия», «Холдинг» и «Оффшор», расслабился и вдруг потек по столу.

Появившийся официант с подносом в руке склонился над юристом, легонько похлопал по плечу и попросил:

– Поднимите голову, пожалуйста, я вам рыбный салатик принес… Вы заказывали… и сыр с тмином… А вот «Цезарь» закончился… Извините…

– «Рыба?»… Салатики?! – резко отпрянув, рявкнул правовед, вложив в первое слово специфический смысл[27]. – Какие, к черту, салатики?! Са-ла-ти-ки! Я вам покажу салатики!

---

[26] Преюдиция *(юр.)* – предварительное решение правового вопроса, без которого не может быть разрешено в суде данное дело; обязательность решения одного суда для другого.

[27] «Рыба» *(юр. сленг)* – предварительная заготовка, «болванка» договора.

Всё Здание на салатики порезали… на брокколи и холопень[28]… Нет, это ж надо, кругом сплошные холопы! Холопы и халдеи! Цезаря на вас нет! Беспардонщина!.. Са-ла-ти-ки!.. – вдруг сбился, ошалело прошелся плошками глаз по «Граммофону», тихо и жалко прогундосил: «Пиво и сыр… Сыр и пиво… кстати, о пиве… хмель и тмин… хмель и хмель… О! Mix! Водка и пиво!.. Пиво и водка!.. а то салатики, понимаешь… «Цезарь» закончился? Да как он закончиться может?.. И вот это всё, вот это… – пьяным, не располагающим к беседе жестом указал он на пустые бутылки «Absolut'a», стоящие на столе, – это всё, абсолютно всё – сивуха. Вы меня поняли? Си-ву-ха.

– Абсолютно с вами согласен, – кивнул официант. – Сивуха.

– Сивуха?!!

– Но, попрошу заметить, какая! – Подняв кривой перст, провозгласил тот. – Абсолютнейшая!

– Совершенно?

– Совершенно.

– А, ну тогда… Еще по стопке, – и тут правовед, окончательно показав всю свою юридическую *сучность*, бесповоротно упал на скрещенные руки.

Официант потеснил бутылки с тарелками, поставил закуску и удалился. Под напомаженными волосами билась резвая мысль о том, сколько можно будет накинуть «рыбьих яиц» на салат из искромсанного хека и приписать нулей в счете.

– То-то и оно. Субъект существует не в физическом, а в социальном смысле. – Флёр снова услышал голос Амадея, который на время затерялся в пивной пене и сыре с тмином. – Он обязан принадлежать какому-нибудь отделу. Если он не признаёт законов Здания и утверждает, что, мол, не Здание следует ставить во главу угла, а его самого, то, извините, пусть он тогда отдает все имеющиеся у него в наличии документы, скидывает портки, которые приобрел в кутюрном цехе, и пойдет прогуляется по этажам. Знаете, что с ним будет? Когда он вернется, то на его теле вы обнаружите следы подошв всевозможных размеров, подпалины от окурков и потеки от помоев. Его просто не заметят.

– А при чем тут Альбинос?

– При том, что все эти правовые нигилисты без определенного места жительства, все эти маргинальные элементы так или иначе находятся – или, по крайней мере, в недалеком прошлом находились, – в связи с отделами, а Альбинос ни одному отделу не принадлежит. Он сам по себе. Исходя из постулата, что в Здании каждый напрямую связан с каким-либо отделом, мы можем заключить, что Альбиноса не существует.

– Простите, простите, но ведь это еще не означает, что он не существует в физическом смысле, – Флёр потянулся к стакану с водой.

– Я с вами согласен. Но Здание признает только документарного субъекта. Только статистическую единицу. Иными словами, вы можете быть переведены из отдела лингвистики в отдел финансов, но если за вами следом не поступили сопровождающие вашу физическую оболочку документы, а затерялись где-то между этажами, то как служащий отдела лингвистики вы уже не существуете, а как финансист вы еще не народились; следовательно, вас, попросту говоря, в Здании нет. Никакие начисления переводиться не будут, бонусов и премий вы не получите, изо дня в день вас станут кормить «завтраками», а тринадцатая микрозарплата в итоге так навсегда для вас и останется тринадцатой – в бесовском значении этого слова. Будете ждать ее, ждать… Может, правда, случиться и по-другому: вас сотрут с лица Здания, но документы о вашей ликвидации по какой-то причине должным образом не оформят. Так вот: для Здания вы всё равно будете существовать. Ваше место никто не займет, вы продолжите торжественно лыбиться с анкеты в отделе кадров, а вашему фантому по-прежнему ста-

[28] Халапеньо *(сорт перца, искаж.)*

нет начисляться зарплата. И, несмотря на то, что вас не будет в физическом смысле, для Здания вы всё равно останетесь великолепным Флёром, работающим в отделе лингвистики. Ведь что получается: мы все отождествляем себя с социальным положением, которого добились. Сегодня вы – финансист, завтра – безработный, послезавтра – работодатель, а еще через день – снова безработный. Но никому не придет в голову назваться своим именем. Флёром, например. Уяснили? Мы есть социальный статус. Об этом, к слову, даже пергидрольные блондинки в жидких полушубках и «мягких рухлядях» догадываются. Смутно, но догадываются.

– Любопытно, весьма любопытно, – ответил командируемый, потягивая воду. – Но почему вы всё-таки считаете, что Альбиноса не существует? Вдруг он сидит где-нибудь за кулисами и посмеивается над нами? И, кстати, я, к примеру, его видел.

– Да кто ж его не видел, – вскинулся Амадей Папильот, опрокинув кружку с остатками пива, – я его тоже неоднократно видел, но это еще ни о чем не говорит. Понимаете, это не доказывает его существования!

– Чушь какая-то, – Флёр поднял кружку, поставил на столешницу и бессмысленно посмотрел на Амадея, вытиравшего платком руки. – Если вы сами признаете, что видели его, то как тогда вы утверждаете, что его нет?

– Я утверждаю это не с точки зрения Амадея Папильота, а с точки зрения Здания, вы меня понимаете? Он, еще раз повторяю, не принадлежит ни одному отделу. А это говорит о том, что в Здании его нет. Одним лишь голым фактом существования еще не обуславливается его право на жизнь. Где задокументировано то, что он есть? А раз не задокументировано, стало быть, его и нет. Его – как факт – еще и де-юре признать надо, – Амадей спрятал платок в карман.

– А если он не требует признания? Если он и есть тот самый индивид, который ни с кем не считается и руководствуется только своими принципами?

– Даже если он не требует признания, он всё равно останется для истории Здания только мифом. Мифом, у которого нет письменного разрешения на жизнь. А коли нет разрешения, значит, и жизни нет… – Амадей Папильот грустно поглядел в пустую пивную кружку. – Понимаете, чтобы жить по законам Здания, нам в любом случае пришлось бы выдумать Альбиноса или подобного ему. Неважно, есть он или нет, просто всем нам очень нужна легенда, очень нужен герой-одиночка, который, в отличие от нас, живет своей жизнью, по своим законам и правилам. Ведь это же с ума сойти можно, если признать, что не мы руководим Зданием, а Оно – нами. Что Объект всегда Субъектом был, а субъект, напротив, – объектом. Жуть. Кстати, поскольку Альбинос имеет физическую оболочку, то наверняка где-то есть и его документарная *плоть*. Просто мы этого не знаем. А раз он задокументирован, то он уже, к сожалению, не легенда. А раз не легенда, то и говорить о нем не имеет никакого смысла, а уж тем более – обвинять во всех наших неудачах. Он такой же, как мы. Другой немножко, но такой же. Иными словами, во всём надо винить не того, кого все именуют Альбиносом, а Того, в Чьи руки попало Здание.

– А с чего вы взяли, что Здание продавали?

– Я это чувствую. Вы не заметили, что говорите на совсем другом языке, нежели раньше? Понимаете, заблуждение служащих любого отдела основано на том, что мы всегда ищем виноватого по принципу «кто крайний?» Мы ищем бревна в чужих глазах, в то время как у самих и глаз-то давно нет. «Зенки», сплошные «зенки»! И есть Альбинос на самом деле, или его нет, уже не так уж и важно! Если не будет крайнего, то его обязательно выберут. Им с одинаковой возможностью могли бы оказаться как вы, так и я. Всё дело случая. С глобальной точки зрения, нам следует выбрать ответственного за все наши грехи и за грехи Здания. А в Чьих, собственно говоря, руках находится Здание? Кто руководит Им? Я не случайно задал вам вопрос о том, не заметили ли вы, что мы говорим на ином языке.

– Не знаю… Дело в том, что я не так давно в Здании, поэтому не могу сказать, на каком языке здесь говорили, – извинился командируемый.

– Здесь говорили на языке порядочности, а сейчас говорят на языке зависти. И вообще – раньше говорили, а сейчас «ботают по фене». Когда место портмоне занимает «лопатник», а на смену преступному поведению приходят «мочилово и разборки», и «урка» становится у власти, то всё: Зданию – конец. Но и так скажу: когда нас начинают дурить мудреными словами типа «дефолт», «инаугурация», «конвергенция» и «ротация», то мы рано или поздно перестанем понимать друг друга. Вот вы мне можете объяснить назначение слов «презентация», «номинация» и «гран-при»? У нас что, нет аналогов? – Амадей подобрался, лицо его вытянулось, «гусиные лапки» вокруг глаз разгладились. Напоминал он в этот момент статуэтку, вручаемую за сомнительные заслуги перед Зданием.

– Но ведь и «аналоги» когда-то… – не согласился с ним Флёр.

– Номинант вы, номинант, честное слово, а еще из отдела лингвистики… Поймите, я не против нововведений, но знаете, в чем-то я, наверное, похож на Портфолио, – вы, кстати, с ним не знакомы? Он из сектора *ино-странных* дел.

– Вообще да, знаком. Но разговаривал очень коротко. – Флёр подумал, что Амадей сам нередко перемежает свою пространную речь словами из разных лексических слоев языка, но вслух этого не высказал. Слушать его стало любопытно.

– Так вот, я не против нововведений, но я против *только* нового. Понимаете? Нельзя забывать о корнях языка. А у нас они другие. У меня же складывается впечатление, что мы сознательно и целенаправленно пытаемся выдрать *свои* корни и посадить новое дерево со стволом, ветвями и листьями, но только уже без корней. Виртуальное дерево, которое ни пощупать, ни объять. Но язык не может быть виртуальным. Он либо есть, либо его нет. Так вот – на сегодняшний день его нет. Где десница, где длань, где ошуюю и одесную? – Амадей, услышав слова раздавшейся шалманистой песни: «…Кликни по баннеру, получишь в сайт!..» – вдруг резко передернулся и покрылся испариной. – Да… что и говорить, продали Здание, а мы и не заметили.

– Кстати… Вы вот тут упомянули Портфолио… А вам не кажется, что имя у него какое-то, мягко говоря…

Папильот усмехнулся:

– Его же словами и отвечу, он их часто повторять любит: «Чтоб дураку его дурость показать, надо до этой дурости, к сожалению, опуститься, но главное – себя в ней не потерять». А от себя добавлю: чтоб меньшинство было услышано большинством, меньшинство должно говорить на языке большинства. Пусть выдуманном, пусть это будет воляпюк и бессмыслица, но другого выхода нет: каково общество – таков и язык.

– А попроще нельзя?

– Можно. Только скучно, наверное.

– Неужели он именно поэтому Портфолио?

– Как и все остальные – только поэтому. Содержание-то в нем – старой потрепанной брошюры: так – листочки, картинки, буковки… И всё это замызгано и косноязычно до комиксов. Зато как звучит – Портфолио! Бедняжка.

– Почему «бедняжка»?

– Потому что, в отличие от большинства, от всех этих интеллектуальных брызгунов пустословных, которым главное – свою дефолтированную, обнищавшую словами мысль облечь в недосягаемую виртуальную форму, так, чтоб всем стало ясно – перед вами полиглот, выпендрыш, IQ-шник, – он прекрасно понимает, что он *не* Портфолио. Вот если б не понимал, ему б легче было. – Амадей вдруг быстро-быстро стал махать руками из стороны в стороны, показывая какие-то знаки: вверх-вниз, вправо-влево. – Скажите, какая, по-вашему, «стрела» является собирательной для всех показанных?

– Вот уж не знаю, – искренне пожал плечами Флёр, подумав, что если и можно представить себе «воплощенную эмоцию», то она должна быть похожа на Папильота.

– Вот, – заключил Амадей. – У вас коэффициент интеллекта – как у дегенерата или разрекламированного общественного деятеля. Выше среднего, но ниже нормы. Шутка, извините. Дело в том, что никакая.

– К чему это вы? Я не совсем понял… – Флёр принял такой озадаченный вид, словно ознакомился с собственными результатами теста на IQ, которые его, мягко говоря, не впечатлили.

– А к тому, что сейчас дуракам по сравнению с другими временами намного вольготней живется.

– И отчего так? – командируемый так до конца и не понял, что имел в виду Папильот, хаотично размахивая дланями.

– Отчего? А вы не знаете? – Амадей накрутил на палец седой локон. – Наверное, оттого, что в оппозиции к дураку тоже дурак стоит. И поменяй их местами – сумма слагаемых власти не изменится. Она будет минусной. Потому что дурак – он всегда с отрицательным знаком. Но всё можно оправдать. Сомнительные тесты на IQ, несуществующее общественное мнение, PR, глянцевая реклама… Это то, что с Портфолио сотворили. Подмена. Желаемое выдается за действительность, дурак за мудреца, пассив за актив.

– Ну и где же, позвольте узнать, мудрецы? – Флёр посмотрел в зал и отпил воды; лицо его в этот момент вытянулось; казалось, он не нашел мудрецов среди присутствующих и весьма удивился этому факту.

– Как всегда, где же им еще быть? Вне.

– А именно?

– Вне кормушки. Рыла и зады мешают.

– А если потеснить?.. – ухмыльнувшись, спросил Флёр.

– Смеетесь, что ли? Кто ж от кормушки запросто так отлепится? Отруби, они же вкусные, сочные, аппетитные… Но тут в другом дело. Мудрец лучше голодать будет, чем из корыта, ведра или лохани, как другие, жрать станет. Поэтому он и вне. Вне скотин, для которых любой, кто искренен, открыт и добродушен, обязательно глуп, наивен и непрактичен. Вне скотин, от которых смердит нечистотами.

– Чистоплюй? – саркастически хмыкнул Флёр.

– Нет, честь бережет. Зря иронизируете, между прочим. Честь для него превыше положения в Здании. Ибо он не жрет, он – наслаждается пищей. А как со скотами наслаждаться можно, посудите сами. Да и скучно оно: больше, чем собственный желудок вмещает, не съешь… Вот, к примеру, в нашем балагане. Каждый хочет другого перещеголять, перефрантить, перепижонить. У вас платьишко кремовое? А у меня будет со взбитыми сливками. Вы ассенизатор, а я – Генеральный Ассенизатор. У вас душа нараспашь, а у меня – воротник апаш. «Уши собачьи», говорите? А у меня слоновьи будут. «Кожа змеиная»? А у меня, глядите-глядите-ка: и-и-гуань-я. И туфли из кожи омара. Вона как. Что, умылись писсуарной водой? И с каждым разом всё больше и больше. Чтоб не воротничок, а шкап воротничков, чтоб не комод, а сервант, чтоб не скобяная лавка, но корпорэйшн, лимитед, спекулэйшн. И никто не может себе уяснить простую истину: новый – это безвкусно одетый старый. Король-то – жомовый. Жо-мо-вый! Потому и цвет костюма у него не кофейный, а жженого кофе, и галстук – не с коричневым отливом, но цвета гусиного помета… И так далее, и тому подобное. Не всё птичье молоко – ох, далеко не всё… За этим шоколадом нередко вообще начинки нет, да и сам шоколад этот – с плесенью… – Амадей перевел дух, потянулся к пиву, задумчиво глянул в пустую кружку, пожевал пересохшими губами, с обреченным вздохом поставил сосуд на место и занудно провещал: – Правда, «фарца», говоря нынешним языком, она даже не столько «прикидом» определяется, сколько отношением к закону. Ведь она же, в отличие от настоящего предпринимателя, не по закону и договору живет, а «по понятиям» и «бандитским распискам». Потому что законы «моль» принимать начала. За торговым рядом, веером, в растопыр. И уже не пой-

мешь: мальчики с перстнями или перстни с мальчиками… Вот в чем весь ужас-то! Все они – за деньги, но категорически против их зарабатывания. «Украшать» для них давно стало производным от «красть». А порядочен для них лишь тот, кто не делает больших подлостей из-за маленькой выгоды. И не могут они зарубить себе на вмятых носах, что если очень хочется, но нельзя, то, значит, нельзя для всех, а не – пытаться купить-подкупить. Нельзя! И пока у них сознание «фарцы», то кроме «Джойнт – Сток Компани Лабаз» им ничего лучшего не придумать. Менталитет не тот. Впрочем, с таким словом им фарта не будет – выговорить не смогут… Знаете, «Граммофон», может, и золотой, только игла у него – золотушная; пиджаки, конечно, замшевые, только вот подкладки у них – замшелые. Да и разве дело в «Граммофоне»? По всем отделам так: рак души, метастазы совести. Посмотрите вокруг, – Амадей обвел зал истерзанным взглядом и развел руками, – пришло время кабаков: вкусу учимся у официантов, манерам – у швейцаров, чистоте – у посудомоек… А управленцы?! Вы только взгляните на эту шатию интеллектуальных кастратов – лица после вчерашнего, мысли позавчерашние. И куда ни глянь – бациллы коррупции, так и летают вокруг, так и вьются, всё живое вокруг себя заражая, честное в лживое перекраивая. И что любопытно: у них, у чинуш этих, одно из двух: или морды, или зверюшачьи личики. Не заметили? При этом совершенно отсутствует самость. Смазанные, невзрачные, в толпе теряющиеся. Им бы не в норку облачаться, а в норах жить. Все друг на друга похожи, как из одного инкубатора. Цыплята такие мутировавшие, с душами коршунов. А лиц нет. Клювы только. Отсюда и проблемы. Мы их не замечаем, а они из толпы выжмутся, за лодыжку – хвать, и обратно в толпу. Ку-ку… ку-ку… Нет его. Ищи-свищи. Лица-то нет. – Флёр рассмеялся. Взгляд Амадея залиловел. – Вам смешно?.. Не до смеха скоро будет. Попомните мое слово. У них же зубов больше, чем у нас – лодыжек.

– По-моему, вы уже не о коршунах говорите, а о волках… Или собаках… – подметил командируемый.

– Те же яйца – только в профиль, – махнул рукой Папильот, продолжив: – А поймаешь его, смуроглазого, он на тебя испуганной мышью глянет да как запищит: «Пи-пи…» Как тут не пожалеть? Беги уж, мыша. Только ты его отпустил, а он по новой – хвать! хвать!.. И такой он перевертыш хитрющий: ты зверюшку ищешь, а он уже курлыкает; только ты его за крыло поймал, а он тебя – зубами, и снова цветком ароматизирует или пчелку из себя корчит. И весь такой подозрительно-положительный… «Мы что… мы работаем, на благо, во Имя…» Хвать-хвать! Да что тут скажешь? – фейерверк туш и скорбь душ… Птицезвери какие-то!.. – Амадей помолчал; через минуту, скорее для себя, чем для собеседника, проронил: – Иными словами, кому и намордник – галстук, – и вдруг совершенно некстати добавил: – С другой стороны, знание законов, даже толковых законов, делает нас безответственными и безнаказанными…

– Разве знание законов не делает нас ответственными перед другими? – обомлел командируемый.

– Куда там. Знание законов делает нас хитрыми, выскальзывающими и уклоняющимися от ответственности. Закон – он же в голове должен быть, а не на бумаге. Понимаете, в чем дело, в сами-то законы я верю, искренне верю, а вот во взяточников нет. Не верю!

– Неужто раньше по-другому было? – иронично улыбнулся Флёр.

– Так же. Только в прошлом всё это было ярко выраженное, а сейчас – грязно скрытое. Разницу чувствуете?

– Не совсем, честно говоря… Ну, и как же всё-таки с этим бороться? – вяло поинтересовался командируемый, которому порядком надоел этот разговор.

– С этим не надо бороться, – Амадей Папильот кивнул на столы. – Нужно разгадать причину этого шалберенья[29]. А причина тут одна – нежелание жить. Они не хотят работать на отделы и ведомства, так как те не могут их защитить и не в состоянии пролить свет на при-

[29] Шалберенье *(устар.)* – бездельничанье.

роду Миро-Здания, природу их «серебряных» нитей, природу их появления в Здании и их ухода. Они просто-напросто боятся реальности – вот и прячутся здесь, в «Граммофоне». Поэтому и гребут под себя, понимая, что Здание никто, говоря их языком, не «крышует». Поскольку Здание и есть самая жестокая, беспощадная и «беспредельная» крыша. Поэтому и распространился по отделам самый страшный недуг – массовый эгоизм. В виде обществ с ограниченной ответственностью, колоссальными олигархическими возможностями и перманентным страхом перед ликвидацией. Вы, наверное, думаете, они празднуют что-то? Нет. Все они в глубоком трауре. Они уже давно не живут, а делают вид, что живут. Мало того, все их лжеистины по поводу борьбы между материальным и духовным давно свелись к одному: к борьбе между материальным, которое может быть выражено в деньгах, акциях, долях и облигациях, и всем остальным, что такого выражения не имеет, а значит, не является материальным… – С этими словами Амадей острым, как рыболовный крючок, взглядом зацепил вымазанный тунцовым салатом пиджак, обладатель которого посапывал за столом и вкусно приговаривал: «Ах, какая маржа! Ах, какая маржа…» – Но это еще не самое худшее, – брезгливо отцепившись от юриста, продолжил Папильот: – По крайней мере, они еще в здравом уме пребывают. Худо-бедно, но пребывают, худо-бедно, но сохранили собственное «я», в то время как другие попросту закрылись в себе, придумали ирреальную жизнь, оказавшись в итоге в архиве.

– Кто же, например?

– Ну, например, Герцог.

– Дворянин? – усомнился Флёр. – Разве в наше время такое возможно?

– Вот именно, что невозможно. Но надо же как-то отличаться от других, чтобы окончательно не раствориться в общей массе. Честно говоря, будь на то моя воля, я бы всех этих ряженых выскочек, всю эту дворянскую камарилью как класс ликвидировал. Не подумайте, пожалуйста, что я какой-нибудь завистник и филистер. Напротив, я с большим пиететом отношусь к титулам и заслугам перед Зданием, но, поймите меня правильно, – к истинным титулам, к истинным заслугам, а не к выдуманным. К дворянам, а не к псевдодворянам. Объявить себя сегодня дворянином, не имея на то никакого морального права, – это значит попросту расписаться в собственной непорядочности. Это ж в *клошарном* сне не приснится – знаете, кем раньше был Герцог? Простым кукольником из отдела игровых автоматов… а сейчас Герцог, видите ли. Галун ему на фуфайку. Смех, да и только. Заслуг что воды в решете, а туда же… И вообще, если уж на то пошло: в наше время присвоить себе чужие регалии – это то же самое, что нацепить пуанты на культи безногому. И самое вам место после этого – в «желтой» части Здания, в архиве, в закрытом «кабинете». Так нет же, некоторые еще собираются отдел дворянского гнезда учредить! – Амадей Папильот в сердцах хлопнул по столу музыкальной ладошкой. – Очень надеюсь, что он будет зарегистрирован по местоположению архива, очень, очень на это надеюсь. Кстати, Герцог уже там – в архиве. Впрочем, он не совсем дворянин. Более того, он – совсем не дворянин. Этот аристократ – пластмассовый.

– Так, стало быть, причина всего этого… – Флёр неопределенно потыкал пальцем в воздухе. Последнюю фразу собеседника он проигнорировал.

– Э, нет, – подался вперед Амадей Папильот, – если мы это признаем, то Зданию конец придет. Сразу всеобщим переустройством запахнет. Ни в коем случае нельзя признаваться в своих неудачах, никогда и ни за что. Нужно искать Того, Кто руководит Зданием. А вовсе не того, кто стал крайним. Понимаете, крайнего легче всего найти. Но это не решит проблемы.

– А с чего вы взяли, что Зданием вообще Кто-то руководит, и Кто-то за всё ответственен?

– Хо-р-р-оший вопрос, очень хороший. А на самом деле, руководит ли Кто-нибудь Зданием? – поперхнулся Амадей. – Я частенько его себе задаю, и всё чаще прихожу к выводу, что Зданием уже давно Никто не руководит. Но даже если Никто и не руководит Зданием, то надо этого Руководящего выдумать, а потом всё валить на Него. Потому что иначе получается, что мы сами во всём виноваты. Но если мы признаем во всём свою вину, если каждый скажет, что

в своей судьбе виноват он сам и только сам, и захочет ее изменить, то столкнется с парадоксальной ситуацией, у которой есть три выхода, но все они для нас закрыты.

– Какие же? – с интересом спросил Флёр и вновь отпил воды, краем глаза наблюдая за Амадеем, который скривился, точно от зубной боли, при виде выбежавшего из-за кулис двуполого патлатого ди-джея в клеенчатых лоснящихся брючках, с серьгой в левом ухе и «гвоздиком» в правой ноздре, воткнутым, вероятно, для симметрии. DJ – грудь женская, таз мужской – взлетел по лесенке на лепившуюся к сцене импровизированную трибунку, оснащенную многочисленными приспособлениями для порчи музыки, радостно подпрыгнул, хлопнул в воздухе штиблетами и устроился за пультом.

– А теперь… «Органза», господа!.. Relax-Reflex! – натянув наушники и бодро дернув стальными скобами пирсинговых бровей, недомерок пискнул в шишечку микрофона, скрипнул «серебряной» нитью – тупой *золотушной* иглой-коротышкой – и зажонглировал пластинками. Казалось, по стеклу заводили бритвой. Под напором беспорядочно снующих и жужжащих, подобно мухам, децибел, Целлюлоза и Глюкоза окончательно сбились с ритма.

Шарманка с вертепом

– Выход первый – изменить свое окружение, – помедлив, произнес Амадей Папильот. – Но поскольку, с известными оговорками, мы все живем в замкнутом пространстве, то изменить свое окружение не можем. Альтернативным вариантом является возможность сменить место жительства. Опять же, даже если бы была у многих такая возможность, а именно – выйти за пределы Здания, то где гарантия того, что мы не попадем в такой же, если не в худший, Массив, в котором нас, в придачу, Никто не знает и вовсе не собирается устраивать нашу жизнь? Тогда существует третий, единственный, выход, которым пользуется очень малое количество служащих Здания, – изменить свое отношение к происходящему. С одной стороны, звучит заманчиво, поскольку тогда отпадет надобность искать виноватого, а с другой – задача зачастую невыполнима… – сказав это, Амадей Папильот нагнулся и поставил на стол ящик с вертящейся ручкой. – Знаете, что это?

– Нет.

– А вы «выньте плейер из ушей» и *сконцертируйте* внимание, – кривясь от микшированной музыки, посоветовал Папильот.

– Попытаюсь, – ответил командируемый, всматриваясь в миниатюрные фигурки, находящиеся внутри, в которых легко угадывались *обезличенные* из «Граммофона». Амадей крутанул ручку: враз грянули невидимые цимбалы, громыхнули трубы, заголосили евнухи, и фигурки в ящичке, медленно задвигавшись, разбили на мелкие осколки стекольный скрежет, рожденный пультом ди-джея.

Флёр склонился над ящичком: на сцене в пароксизме страсти копошились миниатюрные копии Целлюлозы и Глюкозы. Сизо-малиновые клиенты «Граммофона», напоминающие фарфоровых пустоголовых куколок, пялили на подмостки слепые глаза. В глубине виднелись две маленькие фигурки: одна в сером пиджаке, бурых брюках со стрелкой, малиновых штиблетах и оранжевой сорочке с изумрудным галстуком, другая – в свалявшихся буклях и пожившем концертном платье. Обе склонены над ящичком, формой походившим на Амадеев, но по размеру спичечным, в котором проглядывались крохотки еще меньше.

– Заткни оральню! – вдруг рявкнул с соседнего столика зобатый *многощёк* в клубном пиджаке и клубничном *кис-кисе*[30], помешивающий в чашке жидкий кофе «JACOBS» такой прямой и короткой ложкой, что она отдаленно напоминала палец дауна. Рот у него был мокрый, слюнявый, с вывернутыми губами, в уголках которых всё время что-то пузырилось. Весь его облик вызывал отвращение и напоминал неимоверных размеров гору сала с розовыми прожилками, но почему-то в галстуке. – Эй ты! К тебе, к тебе, потертый, обращаюсь. Сделай тише, я ди-джейской иглы не слышу… Я к-к-о-о-му-уу ска-а-за-а-ал!!! Хайло сверну!!!

– Конечно, конечно, – миролюбиво замахал протертыми рукавами Амадей, сменил валик на другой – с тихой заунывной мелодией, приглушил звук, наклонился к собеседнику и заметил:

– Ди-джей побеждает евнухов… А растворимый кофе – молотый.

– Еще раз такое сделаешь, я тебя уроню! – пообещал многощёк с «эффектом хомяка» на плечах, пригрозив «пальцем дауна» со своего стертого рыхлым задом места. Отпил коричневатой бурды, поморщился и, хвастовски поигрывая неотпоротой пошлой лейблой «VIP» на рукаве *беспредельно* клубного пиджака, потянулся к сахарному дозатору. Через минуту, после непродуктивных встряхиваний и бессмысленных заглядываний в металлическую трубку, многоэтажно выругался и принялся отвинчивать крышку. – Руки бы пообрубал тому, кто это придумал!

---

[30] «Кис-кис» *(блат. жарг.)* – галстук.

Амадей в ответ лишь скорбно улыбнулся, подумал, что дозатор со склеившимися кристаллами одержал победу над сахарницей с рассыпчатым белым песком, и чуть слышно, не для ушей многощека, процитировал кого-то неизвестного:

– «Гулял он целых три денька… при галстуке и при деньгах…» – и тут же добавил: – Много званых, но больше пришлых.

– Подождите-ка, но ведь это… – Флёр указал на маленькую фигурку с оранжевым воротником рубашки, которая вдруг исчезла, а на смену ей пошли быстро сменяющиеся картинки.

В беспорядочном смешении кадров отчетливо выделялись следующие:

– мощный тип в белом халате с фонендоскопом, пьющий что-то прозрачное из колбы в компании рыжей веснушчатой особы;

– три субъекта – один в полосатой пижаме с нездоровым лимонным цветом лица, другой – в дымчатом костюме с угольным чемоданчиком, сухолапый и беспалый, третий – полуголый, с одухотворенным личиком, в позе лотоса, с кучей разбросанных вокруг него фетишей;

– хромающий по развалам и выбоинам голубоглазый вояка с черной атласной лентой в блондинистых волосах, в пурпурном камзоле, розовых панталонах, желтых чулках, хрустящих башмаках с пряжками и абсолютно не вязавшимися с этим обликом рюкзаком за спиной, кожаной кепкой на голове, левая рука сжимает противоастматический ингалятор;

– лысый старик, облаченный в мантию, с украшенным кроличьими ушами курительным прибором – не то трубкой, не то кальяном;

– идеально сложённое существо с ангельскими чертами лица и адским пламенем в глазах;

– некто с царственной посадкой головы и плебейским лицом, сидящий на носилках, в бурачковом кашемировом пальто, в нахлобученной на самый лоб шляпе-треуголке, со щегольской барсеткой, сотовым телефоном и брелоком от «мерина» в руках;

– прищуривающиеся плохо видящие служаки одного из отделов;

– толпа с табличками (Флёр успел прочитать несколько: «Опус», «Памфлет», «Вирши» и «Панегирик»);

– тип в искрящемся костюме, держащий в руках длинный список-рулон;

– крыс в сюртуке, на всех перламутровых пуговицах которого была выгравирована одна и та же эмблема – играющая с собственным хвостом мышь;

– два пьяных обнявшихся приятеля с корешками позвоночников

и, наконец,

– пачка испещренных лазерными чернилами желтоватых листов бумаги.

После чего всё вернулось в исходное положение – в зал «Граммофона». Флёр протянул руку к фигурке, копирующей его самого.

– Руками не трогать! Здесь ве́ки смыкаются с века́ми!.. – прикрикнул на него Амадей Папильот, отодвинув ящичек подальше.

– А что я видел? – отпрянув, спросил командируемый.

– Полагаю, что многое из увиденного вами принадлежит архиву, но вход посторонним туда воспрещен… Поэтому лучше не будем о нем говорить – не всяк входящий выходит оттуда… А вот это… – Амадей похлопал по ящичку. – Это шарманка с вертепом. Вы знаете, что такое вертеп?[31]

– Догадываюсь.

– Но вряд ли знаете, что вертеп – это каждый из нас в миниатюре. И пока мы будем видеть в нем что-то одно – белое или черное – мы никогда не выйдем из порочного круга заблуждений. Из бессмысленных поисков виноватого. Для большинства вертеп – это не люлька с младенцем и овечками, а грязный бордель с распутными девками, в котором место люльки заняла кровать

[31] Вертеп (*церк.-слав.* – пещера) – 1) ящик с марионетками для представления драмы на евангельский сюжет о рождении Христа; 2) притон, место разврата и преступлений.

с мятыми простынями, а тонкорунных овец-рамбулье сменили зубоскалы, подмявшие под себя не одно стадо. И как бы мы ни пытались изменить свое отношение к вертепу, как бы ни стремились доказать, что внутри его видим волхвов, а не волков, а разбросанная кровать – не что иное, как колыбель, как рождение нового, мы не сможем отрицать очевидный факт, видимый глазу. Это не рождение нового – это его распятие. Мы изменимся, но изменится ли вместе с нами сущее? Изменится ли это сущее для других? Нет, и еще раз нет. Они всё равно будут гадить в наших яслях. Вы правильно подметили: проблема – в нас самих. Но одни это понимают, а другие нет. Поэтому и ищут виноватого, Того, Кто якобы смял простынь в колыбели, забывая о том, что на простыне лежат они сами. Мы так устроены. Мы не хотим меняться. Нам легче изменить другого. И что в итоге мы имеем? Монастырь в притоне и богохульца у аналоя. Но так не бывает… Вот вы думаете, мне приятно торговать всем этим? И я могу это изменить?

Амадей Папильот, сдвинув заднюю стенку на шарманке, просунул внутрь руку и достал цветные фантики. В беспорядке раскидал их по столу. Круглые, квадратные, фигурные, ребристые, шоколадные, перцовые, светящиеся, с усиками и рожками, с запахом ванили и земляники, в виде зайцев и елочных игрушек, с мелодией и без. Амадей нажал на один из них, и фантик жалобно пискнул.

– И вы этим торгуете? – изумился Флёр.

– Дистрибьюирую… – поперхнувшись, ответил Папильот, – чтоб они себе подобных не плодили. До сих пор, кстати, не уяснил, что же это слово означает…

И внимательно посмотрел в прозрачные глаза командируемого. Затем пожевал во рту очередную тягучую мыслинку и, глянув на утомленных сестер-Целлюлоз, семенящих на полусогнутых за кулисы, произнес:

– Вот-вот, и вы туда же – осуждаете. Но ведь жить-то мне на что-то нужно, правильно? Пенсия и приработок вяленькие – премий не платят. Сейчас в Здании у всех одно чувство появилось: ощущение перманентного денежного напряга, все остальные чувства как-то сами собой атрофировались. Вместе с честью и достоинством. Своего рода эмоциональная обстипация[32]. Запор чувств, если хотите… С другой стороны, а что делать: у кого кошелек, тот, как говорится, и смеется, а остальным приходится наступать на дужку собственных очков, на стекла собственных пенсне, чтоб не видеть всего этого… – Амадей устремил пронзительный взгляд на сцену.

Целлюлоза с Глюкозой испарились, мелодия захлебнулась в нотах, а ди-джей заглох. Послышались скрип колесиков и громыханье тяжелого катящегося предмета. Прощелыжный голос конферансье возвестил: «Сирена, дамы и господа!» – и на сцену из кустов-кулис выкатился рояль. За ним выскочил тапер, нос и верхняя губа которого напоминали небольшой хобот млекопитающего из отряда непарнокопытных. Раскисшее помятое лицо цвета обезжиренного кефира, пьяные мятые штаны, усталый пиджак с вытянутыми рукавами, выглядывающие из-под лацканов подтяжки, разномастные туфли и черно-слоновая, под цвет замусоленных клавиш, «серебряная» нить говорили о том, что жизнь удалась. Следом выплыло раздекольтированное «нечто», в черном расшитом бисером балахоне до пят и пожеванной, будто магнитофонная лента, «серебряной» нитью. Подтяжки щелкнули, и «нечто», по габаритам не уступающее роялю, с хрустом распрямив тулово, заголосило.

«Плясовая колыбельная» – примерно так можно было окрестить раздавшееся со сцены. Унылое, перемежаемое всплесками гортанных срывов и западающих клавиш. «Нечто» не пело, оно – вопило. «За жисть, за братву, за маруху». Далее шли кабацкие «ноктюрны», «рапсодия» о «мурке» и непременная «фантазия» на тему «гоп-стопа». Трели с фальшивыми слезами от потекшей туши и «пером-щекотуном» в подреберье. Это была не Сирена – это была какая-то раскормленная фурия.

---

[32] Обстипация *(мед.)* – запор.

Обезличенные вначале мрачно внимали, в такт подергивая бровями и брылями, но вскоре не выдержали и пошли в пляс. Кто-то спортивно одаренный, разбрасывая вокруг себя купюры, швырнулся на пол и затрясся, словно камбала на песке. Около него угрем завилась девица без слуха. Карась – в кроссовках, треска – в трико, плотва – в платине и сардина – в сардониксах. Вокруг них хищными пираньями замельтешили остальные. Тонкое запястье одной селедочной охватывал массивный браслет. Из-под браслета виднелись точки – не то родинки, не то уколы. *Обезличенные* подвывали, нещадно перевирая слова. Сам танец напоминал нечто среднее между вальсом и гопаком. Флёр с Амадеем молча наблюдали, ибо разговаривать было невозможно. Потянулась долгая нуга безвременья. Но через какое-то время ритм уже держал только шлепнувшийся на пол – он просто конвульсировал. Без кульбитов, но достаточно чувственно. Остальные – пританцовывали как-то, пели о чем-то своем и дышали кое-как. Каждый был сам в себе, а стало быть – самодостаточен.

Наконец, «нечто», исполнив еще пару песен на бис, отработало программу, жадно сгребло «пятихатки» толстопальцевой пятерней в золотых кольцах и загромыхало в сторону кулис, по пути утирая кулачищем растекшуюся по щекам тушь. Рояль укатил следом, оставив в память о себе старую шутку о том, что если все клавиши – черные, то следует поднять крышку. За ним ускакал «тапир» в непарнокопытных туфлях: левом – блеклом, остроносом, с набоечным каблуком, и правом – темно-фиолетовом, с квадратным мысом и стертой подошвой. Отдышавшись, танцующие потянулись к бутылям – врачеваться. Из-за кулис на смену Сирене с «лабухом» снова выползли изможденные Целлюлоза с Глюкозой с тряпками языков, завязанных узлами, и заняли «забронированные» места у накренившегося шеста. Ди-джей воспрянул – вновь понеслись утомительный обмен бактериями из несвежих ротовых полостей и рваное скольжение потных тел по залапанному кем-то из девиц вяло эрегированному шесту.

– Эх… Вот всегда так получается: кому палитра, а кому – политура… Только почему-то художники у нас политуру пьют, а политурщики картины заказывают… – подвел итог происходящему Амадей. – Одни, как говорится, килькиными глазами закусывают, а другие – семужью икру на вернисажах лопают… Но к делу, отвлекся как всегда… Я ведь вам их показал не для того, чтобы, погоревав, попросить у вас платок для протирки очковых стекол, я вам их для примера показал, – он кивнул на фантики. – А пример очевидный. Как бы я их ни называл, как бы ими ни пользовался в своих целях, ну, скажем, магистр Эвтаназ, надевающий их на ультразвуковые зонды, или, к примеру, Герцог, который защищает ими дула «огнестрелов», какое бы им ни придумывали завуалированное название, – «плащ», «конверт» или «изделие №2», – они всё равно останутся тем, чем являются. К ним можно изменить отношение – использовав не по прямому назначению; их можно изготовить из внутренней пленки панциря черепахи или из рога, из рыбьих пузырей или кишок животных, из сока гевеи или гипоаллергенной латексной резины; их можно надуть, как воздушный шарик, или наполнить водой, как мешок; смазать силиконом, обработать спермицидной смазкой и проверить электроникой; разнообразить их толщину – от 0,03 до 0,16 мм; придать им любой цвет – от коралового до кокосового, сделать их ребристыми, цветными и ароматизированными, – а суть их всё равно не изменится: чем были, тем и останутся.

Папильот протянул один сверкающий в темноте фигурный фантик из латекса кукловатой Лайкре – с «серебряной» нитью цвета грошовой, потерянных надежд, бижутерии, – которая взамен угостила его пивом, и сгреб оставшиеся в шарманку.

Глазливая магдалина, виляя тазобедрием, чуть прикрытым *микроюбкой*, – походка «восьмерка на пятерку», – отставив в сторону наманикюренно-прокуренный пальчик и распространяя вокруг дешевый запах дезодоранта «Fa-пачули», удалилась. На прощание, козырнув и прозвенев облупившимся колокольчиком, вдетым в ноготок мизинца, шуточно проворковала: «Честь имею».

– Имеешь ли, *лоханка-фу-флёрка,* губки бантиком, попка – крантиком, душа – фантиком… – пробормотал Амадей, провожая ее взглядом, полным скорби и осуждения. И вдруг совершенно неожиданно, с вожделенно-раздевающими нотками, свойственными усыхающим старикам, сочно прошептал: – …и юбка у тебя по самый сквозняк…

Лайкра тем временем подошла к типу в блескучем костюме, с нежным сутенерским личиком и увиливающими глазками. «Серебряная» нить у него была паразитирующей – в полипах. Ширинка на брюках – микроскопической. С булавочную головку.

– Твоя доля, Люстринушка, – отсчитав купюры, прочирикала Лайкра и, преданно заглянув ему в глаза, облизнула перламутровое сердечко губ. На мгновение показался не то птичий типун, не то пирсинговая, для услады, горошина в языке.

– И это всё? Это всё?! Я спрашиваю, это всё?! Я ее на руках ношу, магнолию эту, а она…

– С клиентами напряг… – заикаясь, потупила взор Лайкра.

– Клеиться лучше надо, – взревел Люстрин, швырнув ей купюры. – Я ее на руках, а она…

– Я буду стараться… Я люблю тебя… – мурлыкнула она.

– Ты меня совсем, совсем не любишь, – злобненько процедил он. – Я о ней забочусь… Лелею, нежу, холю… Всё ей, всё ей, а она…

– Я постараюсь… – скорчив обиженную гримаску, прошептала Лайкра.

– Уж постарайся. А то продам Формалину, – в сердцах бросил Люстрин, выскочив из зала.

Лайкра, тряся а*секс*суарами и взбитой, что мусс, пергидрольной халой, нагнулась, собрала купюры, спрятала их в бархатном, в проплешинках, ридикюльчике и, сжав попку на выдохе, поцокивая каблучками, скользнула к *обезличенным*. Когда она подплыла к столам, кутящие раздухарились:

– Ах, какая у нас кокетка спинки!

– А кокетка переда так вааще!!! – восторженно ляпнул некто отечно-лайковый, погрязнув в лестничном остроумии и приклеившись к девице легкого поведения, но тяжелой судьбы. – Хороша мурена! Ногастая! Дай-ка я тебя по баннеру кликну!

– Не получи по сайту, – завистливо цыкнул собутыльник с вертикальным и звенящим, как рюмка, глазным хрусталиком, потянувшись потной рукой к бутыле «Dom Perignon» в холодной испарине. После «галантно» шлепнул Лайкру чуть пониже спины, отчего в разные стороны от юбки, как при фейерверке, пошли искры, а хлопок, дойдя до кулис, вернулся и эхом отозвался в конце зала.

– Мальчики, мальчики, не ссорьтесь, на всех хватит, – испуганно защебетала шалаватая Лайкра, усаживаясь на колени восторженного *босоголового* мордана, при этом строя глазки другому – с лицом, плавающим в подбородке, и мясистыми, как охотничьи сардельки, пальцами, венчающимися крупными и розовыми – словно куски ветчины без прожилок – ногтями. Раскиданные по лицу глазки напоминали раззявленные пасти фисташек, а трехдневная *плесень* рыхлых щек – «небритость» сыра «DORBLU». *Обезличенный* чем-то походил на дорогой фуршетный стол, но по какой-то причине малоаппетитный. – С вами, ребята, так хорошо, спокойно… А деньги у вас еще остались?..

Флёр тем временем принялся внимательно оглядывать «скромницу» с противными ногами и накладными ресницами, которыми она восторженно-глупо хлопала, кокетливо подмигивая сразу обоим корефанам, но так и не смог уяснить, каким же таким хитрым местом она берет окружающих за гульфики: ажурные чулки на резинках с переизбытком den'ов на лайкровой чешуе; за переизбытком – пупырышачья гусиная шкурка. Вся какая-то потрепанная, жалкая, с потертыми, поеложенными локотками, варикозными икрами и ощетинившимися ежами подмышек. Без силикона и с обвислостями, маленькая и пероксидная. Даже швы на чулках перекошенные… Не щучка, а какой-то большеглазый малек, запуганный хищницами по ремеслу, недобро косящими из-под распушенно-*распущенных* ресниц с соседних столиков… Впро-

чем, о «месте», которым выжженная химией гетера «брала за гульфики» *обезличенных,* командируемый догадался. Не сразу, но догадался.

– Они блестяще понимают друг друга – благородный Люстрин и цветущая Лайкра… Промоутер тел и операторша по оказанию релаксационных услуг, – брезгливо поморщившись, проронил Амадей. Флёр перевел взгляд на Папильота, подумал, что морщины на лице всё-таки гораздо лучше, чем на чулках, и принялся внимать: – Как говорится, ваше Эго плюс наше Либидо, – продолжил шарманщик. – К чему это я?.. А?.. Нет, вы мне всё-таки объясните, почему все блондинки красят корни волос в черный цвет? А? Ну ладно… Так вот… Вы можете утверждать, что вы Герцог, но если отношение к вам не изменится, вы всё равно останетесь кукольником из отдела игровых автоматов. Мало изменить себя – нужно сделать так, чтобы и другие изменили к вам свое отношение. Но и это еще не всё. Изменится лишь отношение, но сама ваша физическая форма будет такой же, какой была. Без плюсов и минусов. Мы же пытаемся изменить то, что изменить невозможно, назвать по-другому, увидеть в вертепе ясли, а не бордель. Не надо! Там есть и то, и это. Но всё зависит от нас самих. И если каждый, повторяю, каждый скажет себе, что там только колыбель, то притон сам по себе исчезнет. Но пока в Здании останется хоть один, кто будет комкать простыню и прятать использованный фант под кровать, – вертеп будет иметь два лица. И одно будет мятым-мятым. Полюбуйтесь… эпигоны в «погонах», прозелиты в «зелени», – вытянув морщинистую черепашью шею, Амадей кивнул в сторону приоткрытой двери, за которой находился малый карточный зал. Пять силуэтов облепили стол: косопузый банкомет, повернутый почему-то спиной к двери, и четверо понтеров.

«Серебряная» нить у банкомета была похожа на нить гардеробщика, но вместо монет на ней шашлычились разноцветные фишки-ставки. У понтеров «серебряные» нити были азартно-подрагивающими и неровными. Цвет и форма их нитей постоянно менялись в зависимости от того, выигрывали они или нет. Когда банкомет подвигал в сторону одного из понтеров крупный выигрыш, «серебряная» нить у последнего становилась густой, с вплотную нанизанными фишками; соответственно, у других – нити изрядно редели, и между фишками можно было расставлять кружки с пивом.

Один из понтеров, одетый в розовый двуборт, веерно обмахивался червонным королем и тузом масти вырванного сердца. На ногах у него сияли лаковые туфли на чрезмерно высоком каблуке, из нагрудного кармашка – очень маленького, почти грудного, который хотелось покачать, – торчала чахлая роза цвета неразделенной любви. Мизинец украшал массивный перстень в виде доминошины с шестью очками. Понтеру фартило, но он отчего-то вздыхал, то и дело нервно оглаживая шелковистую бороденку и поправляя шейный платок. Лазурный, фуляровый. И в маргаритках. По шафрановому – точнее, желто-оранжевому с коричневым переливом – лицу трусил нервный тик. Беспокойный взгляд перебегал с груды купюр, возвышавшейся около блюдца с окурками, на декольтированную брюнетку-пик с приколотой к платью бутоньеркой, жестким абрисом лица и обрезом носа, ревнивым глазом косящую на платок в маргаритках. Вдруг дама пик неожиданно громко пробаритонила: «Перебор» и, скинув карты, – мужлан в берете и две шестерки, – полезла в сумочку за пудреницей. В негодовании фыркнув, прошлась подушечкой по черноватой поросли над губой и профундила: «Весь вечер фуфляк идет». Четвертый и пятый, один – с бегающими глазками, вулканическими прыщами на скулах и перевернутой девяткой на кожаной спине, другой – в солидной тройке с бамбуковой тростью, длинноногий и худотазый, хором произнесли: «Еще», – и банкомет протянул каждому по карте. Оба безмолвно зашевелились, синхронно сбросив карты на стол.

– А у меня «Black Jack», – медленно прошептал тип в розовом двуборте, показав карты банкомету. Тот нехотя двинул ему выигрыш.

В глубине казино обнаружилась еще одна дверь, ведущая в другое, рулеточное, помещение – без окон и настенных часов. Над игорным столом возвышался крупье, меланхолично гоняющий шарик.

– Этого не может быть, этого просто не может быть! – удивлялся некто с животом-бурдюком, наполненным не вином, а фишками. «Серебряная» нить у него была выкрашена в красные и черные прямоугольники. За столом он играл один. На спинке стула висел пиджак с таким густым ворсом, что казался просто волосатым. Шарик, описав несколько кругов, затрясся, эпилептически подпрыгнул и в энный раз за вечер застыл на «Zero».

– Хорошо. Дай-ка я на «ноль» поставлю.

Крупье лениво улыбнулся и, вытянув свою «серебряную» нить в виде загребущей лопаточки с длинной ручкой, забрал предыдущую ставку. Крутанул рулетку. Шарик поскакал. Двуцветная «серебряная» нить играющего напряглась.

– Тринадцать! – констатировал крупье, выбрасывая лопатку.

– Не может быть! – удивленно выдохнул игрок, опорожняя бурдюк. – На тринадцать!

– Двадцать пять… – через какое-то время заявил крупье, расправив иронические мышцы лица в ухмылке.

– Чтоб ни разу за вечер… Как же это понимать? – выдавив последнее из бурдюка, изумился «сухой» пьяница, и «волосы» на пиджаке встали дыбом. – Двадцать пять. На все!

– Судьба, надо полагать… Карма, рок… – фатально пожал плечами крупье, швырнув шарик на вращающуюся рулетку.

Благо, магнитная педаль под столом работала безотказно.

– Скажите, кто, по-вашему, из них главный? – спросил Папильот. – Я имею в виду тех, за карточным столом.

– Судя по поведению, тот, кто одет в тройку, – незамедлительно ответил Флёр, вглядываясь в тугое «зашнурованное» лицо одного из понтеров.

– Почему вы так считаете?

– Он самый независимый.

Амадей склонил голову набок и хитро посмотрел на командируемого:

– И вы полагаете, что это дает ему право называться первым среди неравных? Заблуждаетесь. Он не более чем напыщенный червовый туз. Этот туз червив. Всё остальное поза. – Папильот на миг оторвался и взглянул в сторону сцены, на которой Целлюлозу с Глюкозой сменил гибкий Нейлон в стрингах, с неоновой, искрящейся «серебряной» нитью. Поигрывая литыми мышцами на поджаром теле, он подтягивался на шесте, напрягая крепкие ягодицы и зацепившись стальными икрами, висел вниз головой; далее, спрыгнув, жонглировал ножами, размахивал веером со стальными иглами, вертел мечом и, что уж совсем невероятно, глотал огонь. Это было красиво, но скоротечно. Ибо один из заглотов попал ему не в то горло. Нейлон вспыхнул, заискрил «серебряной» нитью… и вдруг сгорел. В тот же миг некто отожравшийся и предельно гетеросексуальный, сидевший в партере, сделав своего рода контрольный выстрел, швырнул на сцену окурок и рявкнул: «Долетался голубь!» Администрация тут же подсуетилась: на сцену вскарабкался кто-то из персонала с усталым, озабоченным и голодным лицом вечного студента, вооружился веником, небрежно сгреб в совок остатки Нейлона и скорбно удалился. От многодневного недоедания «серебряная» нить у него почти не проглядывалась. Место же стриптизера снова заняли изможденные донельзя баядерки[33].

– Ну тогда, наверное, тот, кто выиграл? – предположил Флёр, не обратив внимания на происшедшее.

[33] Баядерка – европейское название индийской профессиональной танцовщицы.

– А где гарантия, что этот валет не окажется просто-напросто дурачком и в следующий заход не поставит весь свой капитал и, соответственно, спустит всё до нитки? – отозвался Амадей, скорбно вздохнув.

– Неужели дама?

– А чему тут удивляться? Они бывают выше валетов, но к нашему случаю это не относится. Тем более что она такая же дама, как тот червивый туз. Не фиалка, словом.

– Серьезно?

– Абсолютно. Классическая мужебаба.

– Вот те на! – подскочил Флёр.

– Бывает.

– Тогда… постойте, неужели – тот невзрачный бритый затылок?

– А почему не банкомет?

– Ну, не знаю, – командируемый развел руками, – я как-то о нем не подумал.

– И правильно сделали. А теперь я вам объясню, почему самый главный тип среди них – это тот, кто облачен в кожаную куртку. – Амадей Папильот кивнул в сторону кожаного молодца с перевернутой девяткой на спине. – Взглянем на всех по очереди. Каждый из них пытается изменить себя, не меняя при этом свою сущность. И все как один повторяются. Туз рядится в тройку? Дама строит из себя валета? Валет думает, что он выиграл? Всё это лишь иллюзия – иллюзия формы. И выглядит она достаточно нелепо и призрачно. Вместо того, чтобы туз был настоящим тузом и набирал одиннадцать очков, он выглядит как «пассивная» единица. Все знают, что он из себя на самом деле представляет, и как бы он ни тужился, как бы ни пытался прикрыть свое истинное содержание – полноценным тузом ему не стать. Дама? Ей никогда не стать дамой, что бы она на себя ни напялила. Это не краля – это «фря». Валет, который выигрывает? А не «валетный» ли он? Не дурачок ли? Ведь все знают, что он лишь опытный, но, к его несчастью, неосторожный и амбициозный «шулер-дергач», которого рано или поздно поймают за руку и «выпишут бубей». Банкомет? Но деньги банкомета принадлежат «Граммофону», и как только банкомету перестанет везти, его просто, как грязный носовой платок, сменят. Для них жизнь – иллюзия, крапленые карты, *крапьё*, если хотите. Каждый из них пытается обмануть других, но забывает, что они все слишком давно знакомы. И тут не форму менять надо, а содержание. Ведь это только по форме «Black Jack», а по сути-то – «очко»… То ли дело перевернутая девятка! Вот кто не собирается никого обманывать, потому что *они сами обманываются*. Его принимают за шестерку, но только ему одному известно, что они без него никто. Смотрите, смотрите, как он себя ведет. Он нужен всем. Он для них и швец, и жнец, и на дуде игрец. – Амадей Папильот кивнул в сторону бритоголового, отпустившего комплимент даме-пик. Та зарделась румянцем. Тут же в его руке вспыхнула зажигалка, и он поднес огонек тузу, который, вытащив длинную тонкую пахитоску, вставил ее в мундштук. Далее, весело подмигнув валету, дал понять, что не заметил нервных одергиваний манжет. Со светящей золотыми фиксами улыбкой многозначительно кивнул банкомету, заподозрившему за столом неладное и незаметно щелкнувшему пальцами. Кожаный молодец незамедлительно раскланялся и, поправив черный ворот водолазки, вышел. Подозрительно при этом глянув на командируемого.

Через секунду в зал ворвалась толпа синеруких капкан-молодцев – с наколотыми на костяшках пальцев перстнями. Бетонные подбородки дергались в перечавкиваниях жвачек. Взгляды – отсутствующие. Мысли – загноившиеся. Резиновые змеи, утопив головы-наушники в пещеры ушей, огибали одеревеневшие шеи.

Процессию возглавлял агрессивно-деловой администратор, взъерошенно-крашеные волосы которого напоминали перекошенную облупившуюся корону. Крупитчатое личико эгоиста на опереточных ножках. Перевернутая желеобразная фигура – бедра шире плеч. Ярко выраженные седалищные мозоли и выветрившийся запах мужчины. Осторожные женские

шажочки и плотоядный взгляд растлителя – одновременно застенчивый и рыскающий. Дорогой клубный блайзер «Клифт»[34] палевого цвета, узкие штиблеты с наборным каблуком, алая рубашка-апаш и ржавая копна волос. На «серебряной» нити – одиноко болтающаяся «золотая» фишка без пробы. Над узкой склочной губой – рваная и жидкая линия усиков-мерзавцев.

На руках жирно одетого администратора восседал скверный малыш с анемичным личиком и фиолетовыми глазками, облаченный в бархатный темно-вишневый костюмчик. Голову его покрывал абрикосовый оладушек – беретик с пупочкой. Пытаясь вырваться из похотливых липких рук, недоросль кривился и куксился. Незрелая «серебряная» нить мальца была издерганной и возмущенной.

В свою очередь, группа охранников напоминала горсть одноцветных жетонов, которую швырнули на пол и слегка пересыпали монетами: крупными по размеру, но мелкими номинально. Отличались «сухопарые и отощалые» только количеством многоярусных загривков и в противоположные стороны смотрящими флюгерами носов.

– Внимание, король! – хихикнул Амадей Папильот, указуя на процессию. – Костюм льняной, душа – шерстяная. Ему сам черт люльку качал.

– Что ж ты, мерзавец, трефу гонишь! – крикнул администратор типу в розовом двуборте, переступая порог «Катрана». Голос у администратора был резким, тонким и по звуку напоминал бьющийся фужер – наглый фальцет, тщетно притворяющийся гулким басом.

– Свинти, пилигрим, – рыкнул один из охранников с нежным взглядом имбецила; переставил Флёра вместе со стулом в угол, а сам, поигрывая стероидными мышцами и поскрипывая «крепкими» носками, источающими сырный запах, прошел к играющим.

– Поклёп, поклёп! – малодушно запричитал тип в двуборте. – Я не мухлевал!

– А что, шеф, может, ему пики выгнуть? – положив разлапистую руку на розовое плечо, задумчиво протянул дебелый мордоворот с мощными бицепсами, крошечной головкой и умилительно дебильным выражением на лице. Палец другой руки застрял в ноздре. Им он изредка выуживал «фарфокли», делал катышки и бросал в стену. От всего этого великолепия хотелось наглотаться рвотных таблеток.

– Не мухлевал, говоришь? А что *девятка* скажет? – недобро осклабившись и голодно обнажив двоящийся левый резец на нижней челюсти, администратор повернулся к появившемуся типу в кожаной куртке.

– Сам видел, отец родной. Трижды манжеты одергивал. У него еще напарник, кажется, был. Банкомет карты свои слишком высоко поднимал, а тот сзади за дверью сидел и знаки подавал.

– Кто? Где он? – завизжал администратор, напрягая мягкие пластилиновые мышцы.

– Да вот тут сидел. Нету сейчас. Дохлый такой, в сером пиджаке. Вздрогнула фраерская душа – свинтил.

– Этот, что ли? – другой бодигард с «умным» взглядом на утомительно-дурном лице кирпичного цвета показал обкусанным ногтем с заусенцами на командируемого. Во рту у него была жвачка. Жевал он ее не челюстями, а перемалывал всей головой. Тряслась даже лобная кость. Еще не законченный олигофрен, но что-то очень близкое. Говорить ему было трудно, поскольку он привык изъясняться, сплевывая сквозь зубные щербины. Тело же его напоминало огромный воздушный шар, наполненный гелием.

– Точно – он, – мотнул головой тип с кожаной спиной, согласившись с кирпичнорожим, в голове которого копошились личинки каких-то беспорядочных мыслей.

Несколько пар крепких рук тут же вцепились в до смерти перепуганного Флёра.

– Ну-ка, хмырь, пошли, – прозвенел голосом администратор, подав знак охранникам, которые тотчас поволокли командируемого к выходу.

---

[34] Клифт *(блат. жарг.)* – пиджак, куртка.

– Постойте! – раздался голос Амадея Папильота.

– Что тебе, минорный? – недовольно отозвался администратор.

– Оставьте его в покое. Он никуда не пойдет, – указал на шарманку Амадей. – У него командировка.

– Тут я решаю, пойдет он или нет, – отрезал администратор.

– Ошибаешься, – тихо ответил Папильот. – В нем уже есть будущее, и в зале Альбинос.

– Где?! Где?! Дави его! – загорланил администратор, озабоченно завертев головой в разные стороны и опрометчиво опустив малыша на пол, который тотчас скрылся в глубине зала, напоследок скорчив администратору злобную рожицу и негодующе дернув абрикосовым писюном-пупочкой на берете.

– Вон, около сцены прошмыгнул. – Амадей Папильот показал на шарманку, в которой жирующе-тусующиеся господа горохом посыпались со своих мест. Они принялись метать стулья, пытаясь наступить на маленькое белое тельце, быстро уворачивающееся от беспокойных ног, и вдруг в какой-то момент все фигурки в шарманке застыли, и только одна – с изумрудным галстуком – медленно пошла к выходу.

Администратор подскочил к Амадею и со всего размаху ударил по ящичку. Шарманка вдребезги разлетелась.

– И что теперь, душа-шелуша? – вяло отозвался Амадей и, словно предчувствуя неладное, заблаговременно снял пенсне. – Думаешь, таким вот глупым физическим вмешательством можно изменить будущее? Дурачок.

– За дурачка ответишь!!! – взвыл администратор, что есть силы саданув шарманщика в глаз.

Амадей, как ни в чем не бывало, продолжал, на этот раз обращаясь к Флёру:

– Заметьте, самой распространенной нашей ошибкой является то, что когда мы пытаемся изменить будущее, то стараемся воздействовать на него извне, в то время как на будущее можно влиять только изнутри, изменив себя, – и, поняв, что вы и есть то самое Здание, полюбить Его всем сердцем, каким бы глупым, на первый взгляд, и абсурдным Здание ни было. Мы и есть Его будущее. Виноватых не надо искать. Виноватых нет, потому что кругом виноваты мы сами. Ведь «Кто крайний?» и «Кто виноват?» – это то же самое. Знаете, как с орехами часто случается? – Папильот бросил двусмысленный взгляд на капкан-молодцев, не уловивших подтекста. – С виду крупные, а внутри гнилые.

Администратор вновь бросился к Амадею, но вдруг боковым зрением заметил промелькнувшую алебастровую фигурку. В какой-то момент он даже не мог понять, откуда она взялась. Казалось, что буквально секунду назад он разбил ее в шарманке, и вот она валяется на столе, но не менее очевидным фактом было и то, что здоровый и невредимый Альбинос бежал к сцене, а беспокойные ноги-клёш подвыпивших *обезличенных* пытались то ли увернуться от него, то ли, напротив, наступить. Зал медленно, но верно наполнялся агрессивностью, точно мочевой пузырь разбавленным пивом.

– Альбинос! Альбинос! – взвизгнул что есть мочи администратор, отчего на столах лопнуло несколько фужеров. – Мочи его!

– Он тут ни при чем, – мягко заметил Амадей. – Причина в нас; если нам что-то не нравится, то следует просто очень хорошо задуматься, а стоит ли это не понравившееся менять? А может, может – это и есть мы сами? Может, это нас следует менять? К сожалению, мы этого не понимаем. Поэтому будущее будет таким, каким должно быть. Не овчина с почтенной овцы, а смушка с новорожденного ягненка.

– Замолчи! – рявкнул администратор. – Здесь я решаю!

– Распространенная ошибка всех эгоцентристов, – ответил Амадей. – Более того, решает даже не Альбинос. Вопрос в другом – а стоит ли вообще что-либо менять?

– Уведите его! – приказал администратор охранникам, указав на Папильота.

– Никуда-то я не пойду, – горько усмехнулся шарманщик. – Мое будущее закрыто. А ваше будущее – что ж… Если это можно назвать будущим… шерстобиты недобитые… – и презрительно посмотрел на администратора. Посмотрел, точно плюнул: – Неблагодарный ты. Забыл, за чьи делишки я в архиве сидел? – И в своем стиле закончил: – Здесь термин «власть» синоним к «всласть», здесь слово «страсть» рифмуют с «красть»!!!

– Ах ты! Ах ты! – кривя душой и тушей, администратор невольно потянулся утереться, но вдруг схватился за сердце и принялся жадно хватать воздух перекошенным ртом.

– Органза, господа! – недобро резюмировал Амадей, скрестив на груди покрытые старческой «гречкой» руки и оборвав тем самым словоплеванье и фразохарканье администрации. – Всем вам органза!

Охранники, не снеся оскорбления, бросили командируемого и, применив всю «Камасутру» в речи, устремились к Амадею.

И тут произошло то, чего никто не ожидал. Пользуясь всеобщей суматохой, царившей в зале, Флёр медленной, но верной походкой, так и не отведав корицы со щербатого блюдца, направился к выходу. Охранники метнулись к нему – и вдруг, словно восковые фигуры, застыли на месте. Раздался истошный скрежет микшированной музыки, походящий на предсмертный хрип поперхнувшейся зернами кофемолки; крики и визги, переходящие в ультразвук, поникли оборванными струнами; гаммы и аккорды повесились, а в зале наступила гробовая тишина – ди-джею сломали иглу. Флёр обернулся и застал картину, которую, казалось, где-то уже видел.

Фата грязной тряпкой устало падала со сцены: пароксизм страсти кухарок сцены – Целлюлозы и Глюкозы – оборвался настолько резко, что со стороны могло показаться, будто они, наподобие счастливых влюбленных, в один день и час мирно почили в бозе. Несколько стульев, брошенных в сторону сцены, около которой маячила белая шкурка, так и остались парить в воздухе. Напомаженные типы, размахнувшиеся всевозможными предметами и целившиеся в зверька, напоминали мраморные статуи дискоболов в малиновых пиджаках. В их позах чувствовались возмущение нерастраченной энергии и недонабранность алкогольных градусов. Всевозможные лайкры и линзы, пудрившие выпуклости и впадины на лицах, походили на мумий, которых забыли положить в саркофаги. Картежники «в погонах» имели настолько нелепый вид, что с ними можно было сыграть в «подкидного» без ущерба для собственного кармана. Администратор застыл в позе «будущее эгоцентриста»: ничего не выражающее скорбное неутертое лицо, руки, пытающиеся объять необъятное, левая нога, застывшая в полушаге назад, свалившаяся на пол рыжая корона-нашлепка, скрывавшая плешь. Охранники, часть которых ринулась к Флёру, замерли в неловком полуобороте, медленно, точно в рапиде, сделали по шагу вперед и вдруг резко упали на столы. У одного из пасти вывалился и шлепнулся на пол изможденный комок мятной резинки. Кислотно-щелочной баланс нарушился, и бодигард разом сник, – стало ясно, что Stimorol Pro-Z оказался важнейшей частью его тела. Лишь один Папильот невозмутимо сидел на своем месте, и его мудрый глаз счастливо отливал фиолетовым, да рулеточный шарик остался верен себе, уютно устроившись в лунке Zero и подмигивая гладкой поверхностью обиженно-пустому сдувшемуся бурдюку.

– Амадей! Амадей! – позвал Флёр. – Амадей…

Но Амадей безмолвствовал.

А вокруг него были разбросаны в щепки разбитая шарманка, расколотая люлька с гипсовым младенцем и рваные матерчатые овечки. Командируемый с грустью посмотрел на шарманщика и, ничуть не удивившись метаморфозам, которые произошли с содержимым шарманки, понимающе кивнул и вышел из зала в фойе, где швейцар битый час тряс за грудки вопящего гардеробщика, попытка которого спрятаться под полой песцовой шубы оказалась неудачной. Гардеробщик извивался в мощных руках граммофонного цербера и пытался носками дотянуться до пола, а швейцар, наливаясь свекольной дурнотой, нежно шептал ему в волосатое ухо:

– Ах ты, гадкая свинина! Там еще полбутылки было, я же помню! – он отпустил гардеробщика и принялся лепить из его уха сочный вареник. – Где бухло, я тебя спрашиваю?! Ты – выхухоль!

– Почем знаю? Выдохлось, наверное, – проблеял несчастный.

– Песец тебе, гардероб! – испражнился орально кабацкий пес, и лапы его сомкнулись на горле пьяницы.

– Отпуст-и-и-и…

А в это время по столам, ловко лавируя между блюдами и бокалами, в сторону выхода метнулось стремительное тельце. Оно вскочило на плечо одного из охранников, отчего последний накренился и рухнул на стол, разбив *талантливо выдающимися* надбровными дугами пивную кружку. Пена взметнулась вверх и, нависнув седой бородой, застыла над Амадеем. Зверек ловко перепрыгнул на всклокоченную голову старика, свесился, лизнул в нос, аккуратно, словно боясь потревожить его сон, спустился на плечо, вытянулся, прицелился и, рисуя длинную дугу, прыгнул в сторону выхода. Острой мордочкой вонзился в выключатель.

«Серебряные» нити померкли, свет в «Граммофоне» погас, и мрак цвета «крести-пик» воцарился в зале.

Стало так темно, что можно было болеть корью.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
АРХИВ

Магистр Эвтаназ

Магистр Эвтаназ страдал одышкой, запоями и состраданием к ближним.

Восседая на сколиозном стуле в собственном кабинете, он в компании с ассистенткой попивал неразбавленный спирт. Магистр был тучным, короткотелым, с заплывшим лицом, глубокими носогубными складками и подслеповатыми глазами. Клубневидный нос в сизых прожилках удачно гармонировал с двойным, завалившимся на кадык, подбородком и нависшими над бордовыми щеками сиреневыми тучками. Мышиная кайма над мощными кренделями ушей обрамляла лысину. Глистовидный фонендоскоп уныло свисал с борцовской шеи. Длинной непродезинфицированной иглой выпирала «серебряная» нить.

– Между прочим, всяк и каждый имеет право на смерть. Это я тебе как врач говорю, – обратился Эвтаназ к ассистентке, поправляя белый халат в кровавых разводах, из нагрудного кармашка которого торчал молоточек с резиновым набалдашником. – А получается какая-то мистика. Стоит пациенту прийти к этому волевому шагу, как у него возникает проблема с «серебряной» нитью. Ведь заметь, Циррозия, ни один из нас, работающих на благо Здания, ни разу – за все годы существования нашей достопочтенной коробки – так и не самоликвидировался. О чем это говорит?

– О чем же? – спросила Циррозия, взбив роскошную рыжую шевелюру. Голос у нее от частых вливаний был с хрипотцой, так что его можно было принять по неведению за грудное, томное и сексуально-насыщенное контральто.

– А о том, душа моя, что я, пожалуй, начинаю сомневаться в диагнозе наших достопочтенных, которые возвращались из командировок. Не такие уж они и параноики, дорогая, – густым, как кисель, голосом булькнул Эвтаназ. – Но… – Магистр взял колбу со спиртом и плеснул в мензурки. Задумчиво облизнулся. – Смущает вот что. Если следовать утверждению, что мы полностью подвластны себе, а не каким-то там Заоконным силам, то как же так получается, что никто из нас не смог реализоваться в смерти на свое усмотрение? Вот чтоб сам – хрясь… и за Окном. Как же так выходит, что, когда огни Здания потухают, потухаем и мы? Кто включает огни – и Кто их выключает? Что заставляет нас работать, а Что – бездействовать? Так ли уж мы с тобой зависим от самих себя? – задумчиво почавкав влажными губами, вопросил он. – Мало того, разум и внешность у нас тоже достаточно зыбки. Как так: вчера еще – умен и красив, а сегодня – туп и уродлив? Я понимаю, психика – вещь необъяснимая, это я тебе как психиатр говорю, но внешность… Чтоб она до непонятных, ужасающих форм менялась… Это, знаешь ли, ни в какие медицинские палаты не укладывается! Казалось бы, еще вчера под обеденным столом в гостиной бегал, головушкой занозы собирал, носом шмыгал соплеедик эдакий, в замочные скважины подглядывал – интересовался, стало быть, короед бесштанный, буйной жизнью предков: какими такими они там глупостями занимаются, пыхтят да хлюпают, – кровать двуспальную поделить не могут? И вот уже сам на глазах тупеешь, пипетку теребишь, капельки выдавливаешь, интересуешься: а не в них ли, в капельках этих, тайна Миро-Здания заключена? Только вроде бы понял, постиг и осознал, что мол нет, не в них тайна заключена, в другом чем-то – более густом, видимо, – и нате вам: лежишь уже на том самом столе обеденном, под которым занозы коллекционировал, а вокруг тебя гости гостятся, капли считают, что тебе со свечи в ладони падают, в восковую лужу натекают. А сам ты такой морщинистый и лысый, в тайне Миро-Здания разочаровавшийся, печальный и тихий, – не интересуешься

уже ничем, в утиль собираешься. А ведь, казалось бы, вчера было – шпингалетничал, пакостил, пятиточием ременные звезды собирал… Ну, максимум – позавчера. Во время-то бежит! Или вот еще что. Ты замечала, что некоторые просто так исчезают: жили себе, жили, и на тебе – нету. Слышала, совсем недавно кутюрный цех ликвидировали? Причем целиком, минуя утиль.

– Серьезно? – Циррозия вскинула рыжие бровки.

– В том-то и дело. Но скажу больше: я еще могу понять реорганизацию предприятия, аннулирование должностей, ликвидацию отделов, но куда, куда, спрашивается, делись служащие? Куда пропал Стеклограф? И кто перенял его полномочия? Что случилось с теми, кто работал вместе с ним? Циркуль, Транспортир, Маркер… Кстати, никогда не понимал, что они в кутюрном цехе делали? Блатные, наверное… Эх… Ну что, помянем души стертых с лица Здания? – предложил Эвтаназ, тяжело задвигав тугими валиками век.

Оба подняли мензурки. Магистр заглотил, а Циррозия, сделав смущенно-трусоватый глоток, закашлялась. За упокой не шло.

– Что ж ты так? – Магистр перегнулся, похлопал ее по спине с просвечивающимися бретельками и прохрипел: – Миазмия ты моя, миазмия. С таким подходом тебе не в мензурку, а в соску набирать надо. Я же и водички в графин налил. Ладно я, я его чистым могу употребить. Но ты-то… Особа молодая, натура нежная, стыдливая, духовная организация тонкая… Запивать надо. – Эвтаназ ласково прошелся пухлой ладонью по тоненьким бретелькам – рука сползла и застыла в районе пищеварительной железы.

– Как печень-то, варикозочка? – нежно и заботливо спросил он.

– Спасибо, разрастается. – Циррозия недовольно дернула молодыми бедрами, стряхнув с себя пожившую руку магистра с буквой «М» на внутренней стороне ладони, состоящей из линий «ликвидации», «безумия», «рока» и «ненависти».

– Не бережешь ты себя совсем… – озаботился Эвтаназ.

– А для кого? После того как Герцога в архив упекли, мне Здание не мило… – отмахнулась она.

– Да, жалко пластмасску нашу. Понимаю тебя. Хороший парень был. Ну да ничего, может, поправится, я еще у вас на свадьбе погуляю… Глядишь, циррозят маленьких понянчу…

Ассистентка снова зашлась в кашле. На этот раз гулко и с надрывом.

– Молчу, молчу. Что это я о больном…

Откашлявшись, Циррозия выпрямилась, повела мощным трепыхающимся бюстом, перекинула ногу на ногу, оголив белые бесстыжие ляжки в веснушках с легким намеком на эффект «апельсиновой корки», и произнесла:

– Страшно-то как… Ведь если всё это правда… Боюсь даже подумать…

– А ты не думай. Рассуждения, сама знаешь, к добру не приводят, – магистр выхватил молоточек из нагрудного кармашка и тюкнул им по коленке Циррозии. Ножка дернулась. – Шалят, шалят. Может, пора завязывать?

– Повременю…

– Ну и правильно, – пряча молоточек, согласился Эвтаназ. – Толку-то. Завязывай, не завязывай… Всё едино… Ведь к чему мы с тобой пришли? Что, выходит, правы наши «интеллектуалы». Я имею в виду не иносказания, в которые они облачили Потустороньe, но саму идею. Существует Что-то, Чему мы полностью принадлежим и на Что влиять никак не можем. А раз они правы, то либо нас с тобой в архив сдавать надо, а их выпускать, либо – перестать философствовать и принять всё так, как есть. Между прочим, ты замечала, что Окно часто меняется? – магистр на мгновение задержал взгляд на внешней стороне левого бедра ассистентки с «татушкой» в виде розового сердечка, внутри которого посверкивало: «DUKE»[35]. Циррозия в ответ нервно кивнула. – А ты не обращала внимания: Оно меняется, как

[35] «ГЕРЦОГ» *(англ.)*.

правило, тогда, когда мы все спим? И я тебе по секрету скажу. Я стар и сплю беспокойно. Так вот, однажды я, похмельно-озабоченный, явственно почувствовал, что Здание просто переставили с одного места на другое. Уж поверь мне, так оно и было. Прямо не знаю, хоть ты в верха обращайся, чтоб к Зданию сторожа или швейцара приставили… – Эвтаназ немного подумал и обронил: – Или консьержа. Или этого, как его… камердинера… Не-е – дворецкого… Во! – вахтера. Или это всё одно и то же?.. – засомневался он, – не знаешь? – Ассистентка, в ответ глупо хлопая глазищами, молчала. – Да уж куда тебе, не знаешь, конечно…

– Может, всё-таки приступим? Там уже, наверное, заждались, – уходя от неприятного вопроса, затрагивающего ее интеллектуальные способности, проронила Циррозия, поправив халатик, и без того едва скрывающий выпадающую грудь. Спрятав татуировку, *расскрестила* ноги. Эротично завернула рыжий локон за ушко. Томно взмахнув длинными ресницами, поправила белую шапочку с маленьким красным крестиком.

– Что, не веришь? Думаешь, набрался старик? А я ведь хоть и не совсем трезв, но в полном рассудке, если то, что мы подразумеваем под ним, является рассудком. Ладно, давай. – Эвтаназ раскраснелся, жадно сглотнул слюну, мысленно лишил Циррозию халатика и произнес: – Кто там у нас следующий?

– По списку – некто Флёр из отдела лингвистики, – откликнулась Циррозия, справившись в картотеке.

– Зови, – магистр спрятал под стол колбу и мензурки. Проводил жадным взглядом колыхающую бедрами и печенью Циррозию.

– Следующий! – открыв дверь, крикнула она в пустоту и вернулась. Нагнулась и принялась искать в столе завалявшуюся ручку. Над столом виднелась только *циррозливая* прическа. На какой-то миг Эвтаназу показалось, что на голове ассистентки шевелятся *щупальца медузы*[36]. Он безумно замахал перед собой руками, несколько раз зажмурился, ущипнул себя за палец, а когда открыл глаза, перед ним стоял ввалившийся из пустоты полупрозрачный командируемый.

– Выделения, потливость? – сразу приступив к делу, поинтересовался Эвтаназ, указав на стул рядом с бормашиной и хирургическим столом. – Навязчивые идеи, слуховые галлюцинации, симптоматические психозы? – Кинул быстрый взгляд на Циррозию и с облегчением выдохнул. Видения исчезли – ассистентка меланхолично заполняла карточку Флёра.

– Призрачность и тяга к самопознанию, – присев, отозвался командируемый в манере Эвтаназа.

– Понятно, – уныло протянул магистр, откинувшись на спинку стула. – Экзистенциальный психоз. Давно это у вас?

– Всегда, – твердо ответил Флёр.

– Э-э, – нагнулся к нему магистр. – Что ж вы себя не бережете?

– Что я… Все мы тут – нереализованные экзистенты, – устало и горестно ответил командируемый.

– Философская интоксикация, ясненько, – резюмировал врачеватель. – Чувствуется костлявая рука старого развратника с перегоревшими «предохранителями», – намекая на фанты, которыми приторговывал Амадей, прогундосил Эвтаназ. – Общались, небось?

Флёр утвердительно кивнул.

– И многое он вам наговорил – *широкоуст* наш, но *маломозг*? С него станется. Сам кашу заварит, а нам – расхлебывай… И вообще, – заметили? – очень он свои мысли сумбурно выражает, а нередко и вовсе себе противоречит… У него всегда так: есть два мнения – одно его, другое – неправильное. Он, знаете ли, из тех, кто понимает, что все мы разные, но почему-то никак не может взять в толк, отчего мы на него не похожи. Что и говорить, старость – она про-

[36] Медицинский сленг. Так выглядит печень, «битая» циррозом.

тиворечива… И эта его манера дурацкая: «*Мымозы* здесь *мыазмы*, морали здесь маразмы…» – «проыкал» магистр. – Как вам, ушкó не режет?

– Да, так… – неопределенно сказал Флёр. – Я, правда, не помню, чтоб он такое говорил.

– А вы б не слова слушали, а многоточия… Там, где лица-ягодицы, – полагаю, он вам о них поведал, – Эвтаназ задумчиво пожевал губами и обратился к Циррозии: – Пропиши-ка ему, милочка, литературное голодание, должно помочь. И побольше гуляйте, дружок. Дышите…

– Угарным газом, – прыснула ассистентка, но тотчас смутилась под жабьим взглядом Эвтаназа и быстро застрочила.

– Развлекайтесь, блудите, – продолжал магистр, – нецензурно выражайтесь, не пренебрегайте алкоголем. Словом, максимум девиантности в поведении. Как рукой снимет, обещаю. – Эвтаназ окинул командируемого пристальным взглядом. – У меня всё. Свободны.

– Подождите, как все? Вы меня, видимо, неправильно поняли, я не из-за Амадея пришел, я сам по себе, – запротестовал Флёр. – Меня к вам из отдела лингвистики направили, на вакцинацию.

– А что, подцепили чего? Сыпики, прыщики, шанкрики? – Магистр вытаращил глаза и страшно заухал: «У! У!..» – затем, под хихиканья Циррозии, выпалил: – Так что с органоном-то у вас? Вирус А? Гепатит В? Палочка Коха?.. Бледная? Гонококк Нейссера?.. Мокрая инфлюэнца? Гадким *гриппером* не страдаем?.. Брюшнячком не балуемся? *Забубонной* чумой не злоупотребляем?.. Ладно, ладно, шучу я. Вижу, вы у нас чисты, как руки патологоанатома. – Эвтаназ жутко и раскатисто загоготал, а Флёр залился девственным румянцем. – Так зачем вас прислали-то, что, в отделе вирус бродит какой?

– Вроде бы нет. Но… понимаете… Я – командируемый. Из Здания. Мало ли, чем Они там болеют, – повторил Флёр слова мадам Литеры.

– Во как, слышала? А то я уж решил, что у него хобби такое – без нужды лечиться… – Эвтаназ переглянулся с ассистенткой и незамедлительно вытащил из-под стола колбу и две мензурки. Порылся в ящике стола, вытащил третий сосудик, дыхнул, прочистил полой халата запотевший стекляш и поставил на стол. Молча разлил.

Циррозия прошла к двери и закрыла ее на щеколду. Затем направилась к покрытой лишаями раковине с отбитой эмалью, сполоснула под протекающим, капающим на мозги, краном граненый стакан, стоящий на стеклянной полочке под треснувшим зеркальцем, вернулась к столу и налила из графина воды.

– Пейте, – приказал магистр. – Глоток, задержали, и сверху – воды. – Давайте, за упокой, не чокаясь.

Флёр, ни слова не говоря, поднял свою мензурку и впервые приобщился к «нектару» зеленого змия. По прозрачной глотке потекла маслянистая жидкость, глаза выпятились, заслезились, голос задубел.

– Это что такое? – хрипло спросил он, после того как залпом осушил стакан воды.

– Расщепитель сознания, щелочь души. Чтоб действительность мозги не резала, – изрек Эвтаназ и, не запивая, опрокинул свою порцию.

Циррозия последовала его примеру, но всё же плеснула из графина воды и сделала кроткий короткий глоток. Оба залучились.

– А почему – за упокой? – справился командируемый.

– Потому что Оттуда еще никто и никогда не возвращался, – невесело отозвался Эвтаназ.

– А я слышал, будто бы многие вернулись.

– Ага, еще как! – проскрежетал магистр. – Но какими?.. Так что сейчас кто в архиве, а кто и в утиле.

– И что они там делают? – полюбопытствовал Флёр. – В архиве?

– А кто что, – лениво ответил Эвтаназ. – Орут, в основном. Квинтэссенцией всего этого бреда можно считать следующее положение: «Нас нет. Есть Они. Мы – Их отображение». Собственно, на этом все и помешаны. Есть, конечно, латентные сумасброды, которые ни в архив, ни в утиль не попали, и всё еще продолжают работать в своих отделах. Но что-то я не больно им верю. Тихие какие-то, с мистическим блеском в глазках. Знаете, такой неприятный задумчивый взгляд, будто бы в нем тайна Миро-Здания заключена. И такое «ну-ну, рассказывайте мне…» в глазах таится… Но мы их не трогаем. Мирные, исполнительные, никому не мешают, ни с кем почти не общаются. Одно слово – латентные. Или вот еще что… Вы когда-нибудь слышали об отделе клумп?

– Клумб?

– Клумп! – повысил голос магистр.

– Никогда.

– М-да… запущено… Впрочем, понимаю вас, это слово не в каждом словаре отыщешь, – скорчил глумливую рожу Эвтаназ. – Но просвещу вас. Когда-то этот отдел принадлежал Зданию. Мелкаши, работавшие в нем, плели лапти и тачали сапоги. Но в какой-то момент, возомнив себя Зданием, заявили, что будут долбить клумпы. И вот что из этого получилось. Лаптями и сапогами теперь занимаются другие отделы, а клумпы отчего-то никто не приобретает. Более того, об отделе клумп никто вообще знать не знает, потому что Здания в Здании быть не может. Дело в том, что только Здание устанавливает правила, а не отделы. Даже несмотря на то, что эти сапожники провозгласили независимость, объявив праздники Здания личными траурами отдела, наподписывав кучу деклараций и навыбирав невзрачных лидеров-башмачников в органы власти и умудрившись заразить воздушно-капельным путем другие отделы идейкой независимости, Зданию от этого ни тепло, ни холодно. Отдела клумп не существует. Да, шумят, да, требуют, но… Здание – это лапти и сапоги. Клумпы Ему не нужны. Они из кожи вон лезут, чтобы их заметили и признали, а их просто никто не слышит, несмотря на все их шумные деревянные потопыванья. У Здания просто нет времени заниматься несколькими отделами, задача Здания – сохранить тысячи, а не единицы. И когда об отделе клумп просачивается информация в другие, реакция обычно такова: «Надо же! И такие есть! Че производят?! Клумпы?! Ух ты!.. А зачем? Носить? А кто их кроме них носит?.. Че? Суверенитет имеется? Ишь ты! Шо, может, и конституция своя? Нет, серьезно, что ли? О дают! Декларация независимости? А от кого независимы? От Здания? Ну-ну, ну-ну… Держава? Империя? О-бал-деть! Молодца! Как большие прям!» Я когда-то был у них – диагноз ставил. Чувырлы чувырлами. Что любопытно, даже историю Здания накатали – мол, Здание – это на самом деле отдел, а они как раз таки и есть Здание. И что истинное Здание им, унылым, в услужение отдано. Я как-то их самиздатовскую книжицу листал: «Великое княжение клумп во времена упадка лаптей и сапог. Эпоха возрождения и гуманизма». Большего бреда я даже от буйно помешанных не слышал… А уж сами-то, сами!.. Вы бы их видели… Язык – убогий, непонятный. Песни – скучные, шепотливые. Танцы – хороводные, клумпоногие – вялые и заторможенные. Так и хочется под зад пинка дать. И всё недовольны, всё горюют и убиваются, что язык клумп никто не учит и говорить на нем никто не собирается… И чего-то требуют, требуют… То древесины у них, видите ли, перестало хватать, то инструментов. Оказалось, что гордость у них в копчике таилась, розог просила. Ныть вдруг начали, длани выпрастывать: «Подайте на независимость, суверенитету ради…» Раньше надо было думать. Чего уж теперь. Им бы, конечно, дали, убогим, так ведь не слышно, что они из своего чулана вякают да лопочут. Хотя, по большому счету, всыпать бы им разок – и дело с концом. Но у Здания времени на них, к сожалению, нет… Недавно прошел слух, они клумпы долбить бросили – ходули выстругивать принялись. Видимо, чтоб повыше быть. А с ходулей на копчик гордости, да будет известно, очень больно падать. Да и древесины для этого дела больше нужно, и вливаний денежных. Причем, естественно, из того же Здания. Ведь их дензнаки с неизвестными башмачниками

никто не признает и не конвертирует. И чем только кредиты отдавать будут? Клумпами? Ходулями? Не понимают, жопошники, что истинная аннексия на купюрах зиждется. Вот скажите, нормальные они после этого или нет?

– Нет, пожалуй. – Флёр не очень-то поверил прыщевато-притчеватым россказням магистра, но решил с ним на всякий случай согласиться.

– Вот и я о том же. Но Детьми и латентными мы не занимаемся. Не наш профиль. А вот с буйными, так сказать, с *особенно продвинутыми*, мы радикально поступаем. Кого на цепь, а кого и в камеру.

– А посмотреть можно? – поинтересовался командируемый, тотчас устыдившись своей навязчивости.

– Почему нет, конечно, – радушно-равнодушно произнес Эвтаназ. – Тем более, вам полезно будет. По крайней мере, будете знать, чем всё это чревато. Вообще, если заметили, то все мы делимся на тех, кто, находясь в Здании, внутренне знают о жизни за Ним, и на тех, кто, даже побывав за пределами нашей избы, отрицают факт Потусторонья. Они будут твердить одно – есть только они, Других не существует. Таких я называю просто – «консервами». Но это так, к слову. Прелюдия, если хотите. – Магистр поднялся и, минуя бормашину с хирургическим столом, направился к выходу. Командируемый последовал за ним.

– Да, и, это… – Эвтаназ резко-резво повернулся к Флёру. – Я вам этого не говорил. Это мое личное мнение. Остальное же – от Здания, которому я служу. От лукавого, иными словами. – Он посмотрел на ассистентку и объявил: – Циррозия, я ненадолго. Займи клиентов пока чем-нибудь. Ну, ты сама решишь, чем, женщина взрослая, – магистр подло хихикнул. Ассистентка густо покраснела и для храбрости выпила еще мензурку. – Ах ты, гангрена! – взъерепенился Эвтаназ, подмигнув Флёру. – А нам? На посошок надо же, правда? Для внутреннего, так сказать, втирания.

– Естественно, – поддержал его командируемый, устремился к столу и лихо, не запивая, дернул многоградусной жидкости. Кабинет разодрал пронзительный кашель. Эвтаназ неодобрительно покачал головой и похлопал Флёра по спине.

– Вы полегче. К этому быстро привыкают, – магистр кивнул в сторону беспокойно-рыжей Циррозии. – Правда, *крысавица* моя ненаглядная? – Та поджала губы, но поступила мудро и промолчала.

– А, скажите, вы сами на сто процентов уверены в том, что существует другая жизнь? – откашлявшись, уточнил Флёр.

– Я? Э… Ну… Как бы вам сказать… короче… Не уверен, что уверен, но и не так, чтоб совсем был уверен в своей неуверенности. Глубокомысленно?

– Весьма. Я еще спросить хотел… А что такое «Псих-травм-дерм»?

– Где это вы такое глупое слово услышали? – остолбенел магистр.

– А у вас на дверях табличка висит: «Псих-травм-дерм лечитель Эвтаназ».

– Да?! – воскликнул тот, быстро выскочил за дверь, прочитал написанную одним из залеченных до галлюцинаций пациентов надпись и вернулся. – Надо же, шутники. Сменишь табличку, – велел он Циррозии.

– На какую? «Эвтаназ Маниакальный»? – неожиданно для всех и в первую очередь для себя, выпалила Циррозия, колыхнув гладкими атласными грудями.

– Ну, ты, эмфизема легкого, поговори мне, – грубо оборвал ее Эвтаназ, наградив хмурым взглядом. – Субординацию нарушаешь.

– Я не эмфизема, я – Циррозия, – дернув янтарно-пивной «серебряной» нитью, гордо и одновременно обиженно парировала ассистентка, вскинулась, но, почувствовав, что сморозила очередную глупость и гордиться тут, собственно, нечем, отвела взгляд, положила перед собой чистый лист бумаги, ручку и приготовилась записывать. Магистр насупил лохматые брови.

– «Аллопат-гомеопат Эвтаназ Единственный», – подумав, возвестил он.

– Почему «Единственный»? – поразился Флёр.

– А окромя меня нормальных врачей в Здании больше нет, – скромно сообщил Эвтаназ. – Или вы этого не знали?

– А предыдущая табличка, надо думать, «психолог-травматолог-дерматолог»? – догадался командируемый.

– Не знаю, наверное, – пожал плечами Эвтаназ, – только не психолог, думаю, – психиатр.

– Так ведь не звучит, – заметил Флёр. – Как это: психиатр-травматолог-дерматолог?

– А я писал? – искренне удивился Эвтаназ. – И что, по-вашему, первая лейбла, так сказать, звучит, что ли?

– Я не в том плане…

– Ах, я ж совсем запамятовал, – опомнился магистр, хлопнув себя по лбу, – вы же у нас из отдела лингвистики. А это почти что диагноз…

– Простите, что надоедаю, но вы на чем всё-таки специализируетесь? – Командируемый пропустил мимо укол Эвтаназа, показав на унылый хирургический стол и стоящую около него сияющую бормашину, которая, казалось, улыбалась.

– А на всём, – махнул рукой Эвтаназ, лихо перекидывая фонендоскоп через плечо. – Я всё-таки магистр. Навроде Стеклографа, ластиком рока стертого… – Ну, идемте, идемте. Мне еще зубы сегодня вырывать. Чтоб я помнил, как это делается, – проронил он, пропуская Флёра вперед.

– Мы в архив идем, да? – замешкался командируемый. – А я не буду там посторонним?

– Не, не будете, – смерив того оценивающим взглядом, отозвался магистр. – Вы там свой.

– А что с прививками? После архива?

– Зря сыворотку переводить? – опешил Эвтаназ и вдруг случайно запутался в шнуре фонендоскопа. – Да помогите же! – Флёр ухватился за шнур. – Не в ту сторону!.. Кх-кх… А-а!!! Угомонитесь же, наконец! Не в ту сторону, говорю, крутите! Дайте я сам… А то от вас пользы, как от клизмы во время диареи… Да отпустите шнур, наконец, малахольный!.. Кто ж в сторону закрутки дергает? Идиотина! И не трогайте больше. Палач!

– Извините. Только, по-моему, вы сами не в ту сторону крутились… Так почему, вы сказали, зря сыворотку переводить? – переспросил командируемый, отпустив шнур.

– А потому, что призрак, тем более – лингвистический, уже, как я говорил, само по себе – диагноз… А от этого прививок не бывает, – назидательным тоном объявил магистр, замедлил шаг, окончательно распутался, потер баклажанно-фиолетовую борозду, проступившую на шее, поправил фонендоскоп и как-то странно взглянул на ассистентку, задумчиво и безысходно взиравшую на колбу: – А с другой стороны, смотря что считать самоликвидацией… – Правда, Цир-р-розия? – Сказав это, Эвтаназ бросил тревожно-тяжелый взгляд на мензурки с колбой и вышел. Флёр устремился следом.

Циррозия посмотрела на баночки с лекарствами, стоящие на столе магистра, лениво развернула одну из бумажек, лежащую рядом с какими-то пилюлями, и прочла:

«Инструкция по применению препарата «Дифлюкан» (информация для потребителей).

…не принимайте Дифлюкан, в случае если у Вас в прошлом были аллергические реакции на Дифлюкан…

если Вы сомневаетесь или Вам непонятно, почему Вам назначен Дифлюкан, обратитесь к врачу…

противопоказания неизвестны…»

Далее ее беспомощный взгляд зацепился за одну из баночек – со странной, с каким-то двойным смыслом, этикеткой «*Отпуск* только по рецепту врача». Ассистентка магистра оше-

ломленно дернула огнистыми бровями, затравленно шепотнула: «Напишут, а нам гадай, что они, фата-морганы, имели в виду», – взмахнув рыжестью ресниц, боязливо взглянула на дверь, втихаря налила спирта, выдохнула, хлопнула…

…И содрогнулась.

Творитель и Миротворец

В подвале архива было темно, сыро и неуютно. Пахло мышами, тревогой и безнадежностью. Камеры до предела были набиты «душеотказниками». Из-за дверей доносились истерические повизгивания, безумный хохот, бормотанья и надрывный кашель.

По освещенному тусклыми лампочками коридору подвала бродили медбратья и санитары-опекуны с волосатыми мощными запястьями, испитыми лицами с рыжиной на подбородках и «серебряными» нитями в виде катетеров. Характерный запойный загар, которого не добиться ни в одном солярии, покрывал носы и щеки. Никаких бахил и марлевых повязок, но много спирта для дезинфекции, – перегарная вонь била кулаком в лицо настолько мощно, что, казалось, могла своротить скулу. По тому, как некоторые из них беспрестанно потирали суставы и морщились от резких болей, можно было заключить, что физическое перенапряжение и частые алкогольные интоксикации как причины породили закономерное следствие – доброкачественный, «профессиональный» полиартрит, победивший все циркониевые браслеты вместе взятые. От собственного бессилья перед недугом опекуны пинали ногами лишившихся душевного покоя и сквернословили. Не снабженные щедрой судьбой мятыми простынями, *бассоном*[37] и перекошенной капельницей, несчастные больные лежали прямо на ледяном полу кишкообразного, темного, провонявшего аммиаком нехлорированного коридора. Некоторые сидели на цепи, заливались нестройным лаем и брызгали шампунем слюней. На шеях, руках и ногах болтались стальные обручи, крепящиеся к выгнутым скобам, которые торчали из вымазанных масляной краской, цвета плесени и гнилых грибов, стен. С облупленного потолка хламидно свисала паутина, серые клоки свалявшейся пыли негреющим ковром покрывали пол. Тонкие щиколотки, запястья и хрупкие позвонки то и дело напрягались, когда их обладателям виделись сцены из Потусторонней жизни и слышались не присущие Зданию звуки и голоса. Но отпускало…

И тогда они в беспамятстве замирали на полу – до следующего хаоса в сознании. Пока *сонные* – уставшие от перегонки гемоглобина – артерии не вздрогнут, душевные *тройники*[38] не проснутся, а глаза не упрутся в жуткую, написанную готическим шрифтом фразу на плакате, прикрепленном с внутренней стороны архива:

ВОССТАВШИЙ ПРОТИВ ЗДАНИЯ ПОТЕРЯЛ ЭТАЖИ В СЕБЕ

– *Архитипов* в Здании существует немного, – встав на благодатную почву диагностики, говорил Эвтаназ Флёру, когда они пробирались сквозь лежащие на полу, прикованные к стенам беспомощные тела.

– «Ар*хе*-» или «ар*хи*-»? – уточнил командируемый, пристально всматриваясь в лицо магистра. Казалось, вначале плывут сиреневые тучки под глазами, а уже за ними семенит их обладатель.

– «Хи», «хи»… Никакой ошибки тут нет, – ответствовал Эвтаназ. – Так мне продолжать? Или вы меня снова душить будете?

– Продолжайте, пожалуйста.

– Премного благодарен… – сверкнул капиллярами глаз магистр и, словно гончая, без передышки, понесся по заросшим бурьяном полям психоанализа и психиатрии. – Наиболее ярким в плане ссоры с самим собой является тип так называемого Творителя, или Эпитафия. От других *архитипов* его отличает главным образом то, что он противопоставляет себя Кон-

[37] *Здесь* – больничное судно.

[38] Имеются в виду субличности сумасшедших.

тингенту. Под Контингентом здесь следует понимать всех без исключения служащих Здания, в том числе и подобных ему Творителей. Как правило, этот *архитип* отличается излишней чувствительностью, самобичеванием и склонностью к лукавому мудрствованию. Это чрезмерно ранимый тип – он не переносит грубости, бурно реагирует на пертурбации, происходящие в отделах, плохо приноравливается к новой обстановке, страдает повышенным уровнем пессимизма и надуманными болезнями всех тщедушных интеллигентов и лиц, вопящих на каждом углу о своей принадлежности к бомонду. А именно – мигренью и люмбаго. У остальных же, не относящих себя к околокультурным кругам, просто изредка побаливает голова и случаются прострелы. Всё бы ничего, но, как говорилось ранее, он – Творитель, а стало быть, наделен неуемной тягой к реализации заложенного в нем творческого потенциала. Что бы он ни делал – писал, лепил, рисовал, – озабочено, в противовес собственной психической ущербности, выявлением пороков Здания. Чтобы окончательно не тронуться умом, *архитип* Творителя, будучи стойким мизантропом, старается собственные изъяны души и тела переложить на лист бумаги, холст или глиняную лепнину в виде извращений, царящих в Здании, карьеризма и откровенных патологий, якобы имеющих место на этажах. Если Творитель еще не окончательно *за-творился* в своей сумасшедшей скорлупе и в Здании имеет какую-нибудь должность, то для того, чтобы перебороть в себе неизгладимое желание прославиться и занять ведущее положение в отделах, он кидается в беспросветные запои и блуд. Подсознательно он понимает, что часть души ведет его на пьедестал почета, и ему на самом деле страсть как этого хочется, но другая часть ему говорит, что как только он воцарится на верхних этажах Здания, то будет лишен творческого потенциала. И душевный диссонанс, происходящий из-за подобной несовместимости творческого начала и трононенасытности, приводит к тому, что он должен лишиться чего-то одного – или своего имени, или места в Здании. В большинстве случаев *архитип* Творителя лишается второго, но всё-таки мечта о венце в нем теплится, а поскольку венок на него могут возложить только служащие самого Здания, с которыми он порвал, то и выходит, что он начинает их клеймить, наделяя собственными неполноценностями. Дело в том, что поскольку Творитель от Здания в некотором смысле оторван, то абсолютно не понимает процессов, которые в Нем происходят. Поэтому объективно оценивать происходящее не в состоянии. Интуитивно лишь, проводя параллель между собой и служащими, он догадывается, что все мы похожи, а значит, в чем-то одинаковы. Заблуждение его заключается в том, что ущербные качества, присущие ему самому, Творитель применяет ко всем без исключения; что же касается положительных зерен своей души, то он не может наделить ими Контингент, поскольку тот его отверг, а стало быть, является врагом номер один.

За редким исключением, некоторым из Творителей везет, и со временем они вливаются в ряды служащих на правах высокопоставленных лиц. Казалось бы, нет теперь места той дисгармонии, которая была ранее в их душах, но дело в том, что время, которому они посвятили свое «творчество», нацеленное на борьбу с силами этажей, не прошло для них даром. Они, как говорилось, *за-творились*. К ним уже не пробьешься.

К сожалению, такой тип не поддается лечению, поскольку начинает *вытворять* в юном возрасте, еще не будучи известным. И о его «успехах» никто не знает. Когда же узнают, обычно бывает слишком поздно, Он сформирован, и вытворять превратилось в его пагубную привычку. А вместе с другими, не менее пагубными привычками, он превратился в окончательный *архитип* Творителя, и его уже невозможно вылечить. Обычно Творитель одинок, и кончает свои дни в полном забвении… Вообще, так скажу: особь может казаться весьма и весьма неглупой… пока что? Правильно, пока не начинает творить.

– Неужели тому нет никаких противоядий? – спросил Флёр, наступив на чьи-то испражнения.

– Только одно – либо держать свои мысли при себе, либо из Творителя стать Творцом. Но даже тут могут быть подводные камни. Большинство таких особей становятся латентными.

Мы их не лечим. Во-первых, их невозможно признать умалишенными, поскольку они признаны, за счет своих творений, здоровыми, что само по себе абсурд, так как содержание произведения вовсе не связано с психическим равновесием исполнителя. Можно создать шедевр реализма или символизма, но при этом быть ярко выраженным шизофреником. А во-вторых, власть их творений настолько сильна, что какими убогими бы ни были их произведения, служащие не дадут их в обиду, ибо Творители – фавориты Здания. Вероятно, в данном случае следует говорить и о психической болезни фанатов Творителя. Но повторюсь, это еще не означает, что фавориты Здания внутренне не принадлежат к *архитипу* Творителя. Ведь искусство, оно, по сути, очень и очень субъективно. И нередко случается так, что за латентным типом скрывается пробившийся Творитель, которого по непонятной причине все считают Творцом. Знаете, как бывает: напиши вы серое Погасшее Окно первым, все крикнут: «Гений!», нарисуй вторым, загорланят: «Клякса!» Тут ведь как: кто первый, тот – мольберт, кто второй – тот пенал для старых идей: «Ответим на серый квадрат рыжим зигзагом», – смешно, право… А вдумаешься, следовало ли вообще быть первым… Ведь нередко, а порой очень даже и часто, по крайней мере, чаще, чем бы этого хотелось, многие «Творцы» сами не состоялись, но их *состояли*, если вы понимаете, что я под этим подразумеваю. Иными словами, за кавычками скрывается самый настоящий кондовый Творитель. Не Мастер, но – делатель, не прозаик, а – прозаист. Ибо здоровье – оно только в классике, а все эти «измы» – все это хвори и немочь. – Эвтаназ с минуту помолчал, а потом добавил: – Но, что самое удивительное, я так и не разобрался до конца, опять же из-за субъективности искусства, кого же считать Творителем, а кого – Творцом? Ведь есть и те, которые, талантливо написав одно произведение, начинают заниматься самоплагиатом, меняя имена героев, места событий, арки на обелиски, коньяк на абсент. Романы в итоге у них получаются как под копирку. Но знаете, они, тем не менее, навеки останутся Творцами, поскольку у Творителя нет даже того первого, триумфального, произведения, с которого можно было бы копировать последующие… Словом, очень, очень зыбкая грань между ними… Тем более что большинство Творцов, да будет вам известно, тоже с «левой резьбой».

– В таком случае, я не понимаю, как же вы их отличаете? – изумился командируемый, на ходу пытаясь оттереть измазанную (не кофейной гущей) подошву о плинтус.

– А вот тут есть кое-какие подвижки, ибо у Творителя «резьба» сорвана полностью. Более того, у него даже не тараканы в голове, а тараканьи экскременты, – откликнулся магистр, зыркнув на штиблет Флёра. – Удивительно, как это он умудрился? Он же в другом месте сидит… – Эвтаназ удивленно пожал пухлыми покатыми плечами и продолжил: – Так вот, постараюсь всё-таки более популярно объяснить… Как только вы увидите, что явный интроверт корчит из себя экстраверта, коммуникабелен до навязчивости, постоянно твердит, что этажи следует крепить не горизонтально фундаменту, а вертикально, физически слаб, но при вливаниях бугрится, сексуально озабочен, а на поверку готов ублажить только графоманскими стихами; когда по утрам вдруг впадает в депрессию и подумывает о «руконакладстве», да еще, ко всему прочему, что-то там вытворяет – пишет о суперсубъекте, отрицая при этом значимость объекта, – знайте: это Творитель. Не ощущая полноты жизни, он пытается испробовать все ее соблазны; закомплексованный и нерешительный, склонный сомневаться в своих поступках, он страдает тяжелыми агрессивными разрядами и несдержанностью. Творитель, с одной стороны, пытается вести себя как окружающие, но с другой – его, на первый взгляд, казалось бы, нормальное поведение в какой-то момент вдруг начинает приобретать изощренную, болезненную, утрированную форму. Он эпатирует – одевается не так, как все, говорит не то, что все и ведет себя иначе, чем другие. Для него важно отличаться от остальных, но в то же время быть вместе со всеми. С другой стороны, он слишком раним, чтобы жить в Здании, и часто его жизненные всплески заканчиваются весьма печально. Рано или поздно он погружается в себя, занимается самоанализом, – а для подобного типа самоанализ – враг всех несчастий, – начинает вытворять, уединяется в закоулках Здания, рвет со служащими, но, как говорилось ранее, он тщеславен

и амбициозен, он алчен до славы и признания; душа болит, хочется одновременно и создавать устои, и рушить, и быть на вершине этих устоев, и вдруг – щелк. В мозгах начинаются необратимые последствия. Он превращается в Творителя. Литературный бицепс пульсирует, трицепс стиля выкореживается… этакий творческий бодибилдинг. Но, замечу, эти черты во многом относятся и к Творцу, ибо без рефлексии и самокопания не бывает настоящего искусства. Но – тут, думаю, главным отличием является выстраданность. Творец на самом деле страдает и никогда, повторяю, никогда не считает себя Творцом. Ну, там, в закоулках сознания, где-нибудь глубоко в себе, он догадывается, конечно, что мозжечок его не без гениальных извилин, но одновременно очень-очень боится себе в этом признаться. Понимаете, он знает одну истину: Творец – Один. Признаться себе в том, что ты Творец, – это значит сказать себе: я – бес. А вот что касается Творителя, то тут никаких сомнений нет: просыпаясь и засыпая, он говорит одно: я, я, я… гений, гений, гений… Других нет и не было. Меня не переплюнуть, лучшего не будет. А Творец твердит себе – Он, не я. Я – пустозвон, проводник, ничто… Я ушел – Он остался. Что говорит себе Творитель? Его нету, есть – Я… И еще одно: нельзя писать о любви, если сам не любил. Так вот, Творитель – пишет, а Творец – любит… У Творителя – трехдневный насморк, а у Творца – вечная боль. У одного всего лишь ветреная поверхностная страстишка, а у другого – суховейная всепоглощающая страсть… Ибо творчество выболеть надо, выстрадать, тут аспирин и прививки не помогут, тут только одно – до конца, как бы больно оно ни было, и как бы вас ни заплевывали со всех сторон сморкачи с аденоидным своим творчеством и гунявым гением… Кстати, Творец, в отличие от Творителя, всегда недоволен своими произведениями, ибо пытается достичь недосягаемого – Идеала. Его всё время, вплоть до запятых и многоточий, что-то не устраивает. В этом, конечно, где-то его трагедия, поскольку достичь Идеала вообще невозможно. С другой стороны, согласитесь, такой подход, как минимум, заслуживает уважения… Ну а Творитель полагает, что он сам, его «творчество» и Идеал – всё это синонимы… Вот если я вас спрошу: «Пишете ли вы?» – а вы мне ответите: «Нет, ящики гружу», – тогда, может, я вам и поверю, что вы Творец… Ибо это очень тяжелая работа – «грузить ящики». Многие этого не осознают, большинство считает, что писать – это значит буквы в слова соединять, а слова в предложения. Вот поэтому они и Творители. В отличие от последних, Творец понимает смысл фразы «Не кантовать!» Поэтому грузит аккуратно, с любовью, с дрожью в руках. Ибо не ведает, что там, в ящиках, за дар припасен – комедия ли, трагедия? проза, стихи ли? А для Творителя всё едино – пошвырял-пошвырял ящички, и ладно. Брутто, вроде, как и у Творца, а вот нетто-то и нету. Простите великодушно за навязанный каламбур… И что немаловажно: для Творителя важно «сколько», а для Творца «как». Ибо только графоман не боится «чистого листа»… – В этот момент Эвтаназ задумчиво посмотрел на голую стену архива и передернулся. – Вообще, если использовать музыкальную терминологию, «сколько» – это всего-навсего однодневный шлягер, а «как» – это уже многолетняя песня. Разница, как вы понимаете, колоссальная. При этом Творитель всегда поучает, ибо думает, что познал истину, а Творец лишь констатирует существование лжи… И в итоге получается, что Творитель через мнимую истину становится лжецом, а Творец через констатацию лжи постигает истину. Вот такие парадоксы случаются… И знаете что, я еще ни разу не встречал графомана, который не считал бы себя замечательным поэтом или прозаиком… не самовыродком, а самородком… – Тут магистр повел носом, пробурчал: «Попахивает. Ну да ладно». И продолжил: – Ну а самое главное их отличие в том, что у Творца за глубиной фраз скрываются два, пять, десять подводных течений, зачастую не известных самому автору. У Творителя же, даже если он не отъявленный дилетант, – кстати, некоторые Творители нередко имеют академическое образование, – всё на поверхности, без глубины и волн… так… мелководье, штиль… Но это надо не читать – это надо чувствовать… И научиться творить невозможно – плюньте в лицо зашлакованным филологам, которые заявляют, что буква – это знак азбуки, а запятая – знак препинания, плюньте, не стесняйтесь… Они в этом ничего не смыслят… Навязы-

вая правила, они тем самым убивают литературу. Видимо, поэтому среди филологов очень мало Творцов… Всё больше юристы и медики, – Эвтаназ самодовольно улыбнулся: – Да-да, именно медики… Я вот тоже подумываю на досуге за мемуары взяться… много всего накопилось… опыт, страдания… Как думаете, получится? Не отвечайте, сам знаю – кому дали клизму, за перо браться не стоит… О! Кстати, пожалуйста… Как поживаем, дружище? Как невроз поэзии? Как цирроз прозы? – Эвтаназ нагнулся над каким-то астеником в очках с толстыми стеклами, в войлочных тапочках, полосатой пижаме и с цепью на щиколотке. «Серебряная» нить у него походила на чернильную кляксу – темную и расплющенную, с множеством расходящихся в разные стороны отростков.

Астеник с запавшими, абсолютно безумными глазами плевал на стену и чуть ли не кровью писал что-то на рукавах. Рядом стояли стакан с водой и алюминиевая миска с выбитым на дне трехзначным номером. Последние две цифры – шестерки – прикрывала черствая корка. Около миски догорал свечной огарок, воткнутый в хлебный мякиш.

– Что, Эпитафий Эпиграммыч, Зданию реквием сочиняем?.. – осклабился магистр. – А как животик наш? Метеоризмом не страдаем? Перистальтичка не подводит?

– Вы зачем макет сломали? – не ответив, капризно вопросил Эпитафий и, оторвав лицо цвета гнилого лимона от злокозненных виршей на рукаве, недобро глянул на штиблет командируемого, наградив затем и Флёра хмурым маниакальным взглядом. – Я старался, лепил «Памятник режиму», а вы… Извините, строчка… Подождите минутку, эпилог кульминирую, – и принялся выкругливать полоумную рифму. – «Смерть харизме», – возвестил он, закончив писать. – Ода.

– Быстрее, быстрее… Пожелайте ему «*приятного эпитета*» вместо аппетита, и идемте… Они всё равно когда вытворяют, ничего не жрут… Да скорее же… – Эвтаназ потащил Флёра вперед. – Главное, не показывать, что вы заинтересованы. Для них это – яд. – После чего бойко развернулся к Эпитафию и, сделав акцент на последнем слове, не без сарказма мурлыкнул: – Ни пуха, ни пера.

– А почему он на стену плевал? – поинтересовался командируемый после того, как в свою очередь пожелал Эпитафию «приятного эпитета», за что был награжден высокомерным и одновременно воспаленным взором.

– Не знаю, вероятно, картину писал. Что-нибудь вроде «Плач диссидента». У них это принято. Других не облаешь – самого облают… Знаете, я давно заметил: самое страшное бешенство – это литературное… Так, ну это – просто «овощ», – Эвтаназ брезгливо откинул короткой ступней небольшую луковицу, пустившую корни прямо в пол.

– А он не медик? – спросил Флёр.

– Нет. Инженер.

– Сирых душ? – неожиданно выдал командируемый.

– Канализационных труб… – облизнув губы, произнес Эвтаназ. – Серость часто так сублимируется – выхода из клоаки ищет… Кстати, замечу одну любопытную деталь. Вы знаете, какой первый признак сумасшествия?

– Какой же?

– Первый признак сумасшествия – это ощущение непревзойденности, – выразительно подняв палец, заявил магистр. – Ведь порой высокий IQ граничит с безумием, а гениальность с сумасшествием. И я знавал таких Творцов, которые со временем становились Творителями. Они рождались в яслях, а кончали в хлеву. Но были и другие, те, которые переросли овчарню своей души. Кто переступил через ощущение непревзойденности, кто расстался с иллюзиями и приходил к выводу, что на самом-то деле никто не знает истинных вкусов Истинного Творца. Ведь чтоб стать гением, надо понять, что вы смерд, что вы – смертны, если хотите. Надо стать Творцом, но нельзя признаваться себе в этом. Ибо кара будет *длиннорукавной*, с перехлестом на спине… Но больше скажу. Самое главное во всём этом – не кичиться своим даром, и вовсе

не потому, что наказать могут. А потому, что это всего-навсего данность. Только глупцу придет в голову гордиться карими глазами, доставшимися по наследству вместо голубых, или сухощавым телом вместо рыхлого. В этом нет заслуги – только доминанта и гены. Смешно, понимаете, просто смешно бахвалиться классической формой носа или горбинкой на нем. Суть носовых хрящей у всех одна – носовые крылья держать, чтоб аденоиды не выпадали. Так и с талантом. Это всего лишь данность, а не заслуга… Всего-навсего цвет глаз, который сложно определить, и любопытная форма носа… Да и вообще, если уж начистоту: это нам каждому по отдельности кажется, что мы гении, а соберешь всех вместе, вглядишься в толпу – так себе, быдло… – Эвтаназ сбился и повлёк его дальше. – Между прочим, – снова продолжил он, – вылечить в себе непревзойденность можно только одним: смеяться не над другими, а над собой, так как именно самоирония является лучшим и, возьму на себя смелость утверждать, наиболее надежным противоядием от яда гениального сумасшествия и сумасшедшей гениальности… И никогда не плюйте в колодцы чужих душ, вам из этих душ еще пить. А плюя, вы только свой колодец замутняете… Есть, правда, другое противоядие: как только почувствовали, что нимб над челом засветился и поискривать внаглую начал, – нажритесь. До ризы упейтесь, до галлюцинаций, до копыт. Оттеняет очень… Глядишь, а нимб-то уже на кадыке болтается, и всё ниже и ниже, до положения слюнявчика… И вот вы уже не Творец, а *творяка* – прокисшая творожная масса без меда и изюма, без цуката и марципана… Ну, я смотрю, несет меня сегодня, слов нет… Это всё от обезжиренности… – Магистр резко прервал себя и посмотрел куда-то вбок. Подозвал опекуна с лицом-опухолью, западающим глазом и перегаром на пересохше-потрескавшихся устах, шепнул ему что-то на ухо, тот унесся, а вернувшись, держал на излете две мензурки и стакан с водой. – Ну, за нимб души и копыта тела! – провозгласил Эвтаназ, полоснув спиртяги. Командируемый не заставил себя упрашивать и тоже выпил. Оба прильнули к опекуну. Эвтаназ к правому плечу, Флёр – к левому. Занюхали. Стало спокойно и тревожно одновременно. Хотелось и *творить*, и *вытворять*. – О, вот еще прелюбопытнейший экземпляр! – воскликнул магистр, утянув командируемого вглубь змеящегося коридора и на ходу договаривал: – Творителей, кстати, существует два вида – близорукие и дальнозоркие. Одни только вблизи видят, другие – вдалеке…

– А Творец?

– К несчастью, у него стопроцентное зрение, иногда даже больше чем стопроцентное. Творец, если хотите, – многозорок. И глаз его улавливает то, что у других не воспринимают все органы чувств, вместе взятые.

– Почему «к несчастью»?

– Дело в том, что, в отличие от большинства, он пользуется не семью цветами, а целым спектром цветов и оттенков, а это возлагает на него колоссальную ответственность. И часто бывает очень сложно переварить в себе хорошее, которое со временем станет плохим, и мертвое, гадкое, мерзкое, которое в будущем заискрит жизнью. Понимаете, Творец знает, что всё временно, и то, что, казалось бы, перед вашими глазами сейчас происходит – это иллюзия. А фантом – он-то и есть реальность.

– Так это же замечательно, что он всё видит.

– Вовсе нет… Потому что на самом деле Творец не так уж сильно от нас с вами отличается – сознание может быть с разным углом зрения и находиться в разных эпохах, а вот глаза наши и чувства живут настоящим. Правда, чувства еще и прошлым питаются – опытом, который у всех неодинаков. Наверное, поэтому мы часто на одни и те же обстоятельства реагируем совершенно по-разному, поскольку высшее достижение открытого разума, да будет вам известно, есть всего-навсего наблюдение игры интеллекта с видимой действительностью… Впрочем, это я, по-моему, утянул у кого-то… А с другой стороны, многое ведь и от организации нервной системы отдельно взятой натуры зависит… От ее эмоциональности… черствости или экзальтированности… – закончил Эвтаназ.

– А как с Эпитафием Эпиграммычем? У него какое зрение?

– Скоро никакого не будет… – пробормотал магистр. – Кстати, совсем забыл, есть еще два весьма любопытных варианта Творителя. У одного из них в «творчестве» всё ладненько и складненько, но без изюминки, без души. Знаете, отчего? Он искусство ненавидит, но обожает правила в нем. С одной стороны, его и Творителем в полном смысле не назовешь, но с другой… Мертвечина у него всё, поиска нет, надрыва… Этот Творитель – глуповат и зашорен. Теорем в искусстве он бежит, полностью полагаясь на аксиомы, в то время как Творец аксиомами часто пренебрегает… Другой же вариант, напротив, нередко бывает высокообразованным интеллектуалом, если не сказать – ходячей на кривых беспокойных ножках энциклопедией. Но по сути своей он – вор и конъюнктурщик, а значит, лжегений и псевдотворец. И несмотря на то, что оба этих варианта встречаются довольно часто, мы за них даже не беремся, ибо доказать, что они Творители, фактически невозможно… Один использует глупые, затертые до дыр правила, другой – весьма, надо отметить, прозорливый прозаик и лукавый гаденыш – постоянно подворовывает из шедевров… Поэтому некоторые нарывы в искусстве нередко воспринимаются как нерв и новация… Ну, естественно, пока за руку прозорливца не схватили да не ткнули – плагиат, мол, это всё, имитации и переиначки… Надеюсь, вам разницу между философом и философствующим объяснять не надо? Понимаете, нет греха в том, чтоб умыкнуть чью-то идею и талантливо переложить на свой лад; грешно и позорно – целую идеологию за свою выдавать, а потом одаривать всех а-ля скромной улыбкой: «Сам не знаю, как получилось, снизошло, да и что я могу поделать… талант – его ж не спрячешь». А вы б попытались. Спрятали. Авось не найдут. Если искать, конечно, будут.

– Знаете, я кое в чем с вами не согласен… – оборвал магистра Флёр. – Не насчет Творителей, тут вы, наверное, правы, а по поводу Творцов… вот вы говорили про медиков и юристов… Я тут видел одних юристов… В «Граммофоне»… Очень я, признаться, сомневаюсь, что они – Творцы… и вообще в состоянии что-либо путное написать…

– А те юристы, о которых я говорил, они подобные помещения не посещают… Отпосещались уже… – выкрутился Эвтаназ. – Полагаю, против медиков ничего не имеете?

– Нет, конечно, – соврал командируемый, отводя взгляд от магистра, и вдруг спросил: – А где находится Истинный Творец? Я не проводника имею в виду, а Настоящего Творца. Кто Он такой?

После этого вопроса Эвтаназ остановился как вкопанный и побагровел. На мгновение взгляд у него стал ледяным и острым, точно скальпель. Командируемому на миг показалось, что этот взгляд, как и фразу об «открытом разуме», магистр тоже где-то подворовал.

– Чтоб я от вас этого никогда больше не слышал, – понизив голос, зашипел Эвтаназ. – Понимаете? Никогда. На этот вопрос нет ответа. И бойтесь тех, кто скажет вам, Кто Он и Где Он. Бойтесь их, бегите от них, не оглядываясь. Это Творители, это – *Мессианы*.

И, печатая шаг, пошел вперед. Флёр засеменил следом.

– Что же касается простого Творца, – мрачно пробубнил магистр, – так это тот, кто может сказать: «Пока вы надо мной смеялись и ерничали, я тонул в своей прозе; когда же вы, наконец, захлебнулись от собственной желчи и зависти, я выплыл на поверхность»…

– Всплыл? – уточнил командируемый, которому порядком надоело занудство Эвтаназа.

– Нет, выплыл! – осадил его магистр. – Запомните: если Творитель любой экспромт доводит до состояния экскрементов, то Творец, наоборот, из любых экскрементов может создать экспромт. Так что выплыл, а не всплыл…

– Стало быть, не творить? – издевательски поинтересовался Флёр.

– Почему же, творите, если можете, – не почувствовав иронии, отозвался Эвтаназ. – Только о тварях помните, и в Творителя не превращайтесь…

Вскоре они остановились около нервного кудлатого типа с агрессивным терракотовым лицом, в накрахмаленной сорочке, изумительном дымчатом костюме и начищенных туфлях.

Галстук-плотва, грея грудь, клевал тупым носом вырисовывающийся из-под рубашки и завязанный аккуратным кукишем пуп. Указательный палец на правой, «сухой», руке отсутствовал. Шею обхватывал стальной обруч с цепью. Ржавым оружейным стволом выпирала «серебряная» нить. Так называемое лицо покрывали, словно рытвины от ядерных взрывов, оспины. Он нелепо переминался с ноги на ногу и, с благоговением поглядывая на черный чемоданчик, стоящий около стены, пронзительно орал:

– Левой, левой, раз-два; левой, левой, раз-два. На месте… стой… раз-два. Приготовиться к газовой атаке! Внимание, га-зы!… – издал мощнейший хлопок кормовой частью и прогорланил: – Кру-го-о-м, марш… Левой, левой, раз-два…

– Типичный *архитип* Миротворца – он же Монументал. Как и Творитель, Здание любит всеми *фибромами* своей гнилой души. Личность харизматичная, и я бы сказал, в некотором смысле – хрестоматийная, – произнес Эвтаназ и закашлялся. Отперхавшись, молвил: – Отличительной чертой Миротворца является то, что он начисто лишен воображения и творческой жилки. Если и бывают малейшие проблески, то он безжалостно вытравливает в себе это интеллигентство, поскольку часто бывает потомком ярко выраженных плебеев. Единственное, что роднит его в некотором смысле с *архитипом* Творителя, так это желание казаться значительным и незаменимым. На этом их сходство заканчивается, ибо они друг друга, в отличие от прочих *архитипов*, которые иногда находят между собой общий язык, просто не переваривают. И если у Творителя желание выделиться проявляется лишь в признании его художественных идей, которые вовсе не обязательно должны быть претворены в жизнь на этажах Здания, то Миротворец старается облечь свои идеи в реальную, вполне осязаемую форму.

Возвращаясь к Творителю, замечу, что он больше всего боится жить в эпоху перемен, а уж тем более – таких перемен, которые он выдумал и увековечил в своих произведениях, точнее сказать – «производственных травмах». Между прочим, это еще один подсознательный страх Творителя: страх перед тем, что им написано. И в равной степени для него важны как равновесие в собственной душе, так и гармония на этажах Здания, поскольку первое всегда сопряжено со вторым. К сожалению, он часто этого не понимает, и на первый план ставит собственную душу, а потому, даже глубоко ненавидя Миротворца, нередко становится его клевретом и дифирамбщиком. Что же касается Миротворца, то, в отличие от предыдущего, достаточно безобидного, *архитипа*, он – жесткий реформатор. Причем именно тот нередкий тип страстного и непоколебимого реформатора, который со временем превращается в упертого заурядного консерватора. И, если вчера он был *широкодушим* обаятельным демократом, любителем шалашей и шалашовок, а также своим, «до трясущихся рук», парнем, то, стопудово, завтра – превратится в бронелобого, закодированного, половобессильного узурпатора. Это самый страшный и кровожадный *архитип*. Он глуп, труслив, хитер и, как результат, – чрезвычайно вспыльчив и заносчив. Путает конституцию с проституцией, а избирателей со скотиной. На словах готов к компромиссам. Но на деле – лишь к тем, которые приводят к сокрушительным последствиям. Старается утвердить свою правоту политикой силы и преследованием инакомыслящих. Любопытно, что сам он подвержен навязчивой идее преследования, – утверждает, что кругом соглядатаи, фискалы, тайные организации и прочие вражины, которые хотят его ликвидировать и стереть с лица Здания. В своем окружении никому не доверяет, считает, что за глаза о нем плохо отзываются, а также пытаются нанести вред физическому и психическому здоровью – копируют информацию, стирают психические данные и тому подобное. Будучи на редкость коварным и изворотливым аспидом, вначале пробует силы на своих подчиненных. Убедившись, что ему всё сходит с рук, прорывается в высшие этажи Здания и устраивает театр одного актера… Нередко пломбирует историю отдельно взятых отделов, а порой и всего Здания. Так, что на месте зубных дупел вырастают безразмерные клыки и резцы. Отчего у электората, естественно, не закрывается пасть. Раньше щечки западали, но жевалось. Теперь вроде зубки есть, а прожевать нельзя. Приходится заглатывать кусками. Отсюда гастрит, язвы,

несварение желудка… Впрочем, будем откровенны перед собой – каков электорат, таков и кандидат…

Далее. Миротворец исключительно работоспособен и энергичен. Он – трудоголик. Однако, как большинство трудоголиков, глух и слеп, а значит – слышит только себя и видит результат только своей деятельности. Работу других не ценит и прочих трудоголиков изводит. В компании претендует на лидерство и, если еще не пробился в верха, частенько бывает бит. Но на удивление живуч. Более того, нередко – *долгоживуч*, что весьма пагубно отражается на его дурь-избирателях, которым ничего не остается, как удивляться столь разительным метаморфозам, произошедшим с их выдвиженцем, поначалу казавшимся свежим, здоровым и умным, а со временем скоропостижно потерявшимся в недрах маразма и тенетах Альцгеймера. Из молодцеватого супердемагога превратившимся в косноязычного «экающего» хрыча. По причине так называемой «сильной слабости мозговой памяти в голове» он забывает имена (и лица) тех, с кем общается, перестает ориентироваться не только в собственном окружении, но и в отделах Здания, которыми руководит. Он вполне может поздравить электорат так хитро и заковыристо, что вначале и не поймешь, что же он имел в виду, как-нибудь навроде «чтоб предыдущий год был для вас лучше последующих». А уж если дал слово, клянясь собственными отпрысками и Потусторонними силами, будьте уверены – Миротворец слова не сдержит. Не надейтесь. Вполне в его духе помочиться в общественном месте, в концертном зале выхватить дирижерскую палочку и заставить оркестр профонить шлягерок «Красная кнопка – залог миротворчества», ущипнуть за мягкость-выпуклость какую-нибудь великосветскую особу, поднять фужер и забыть его осушить, начать фразу и закончить через минуту в том же месте, из которого выполз – на недоумевающем междометии: «Э… а что это я сказал? Э?»… Перепутать листы своей – не своей, подготовленной крючкотворами, речи, обнять визави – и вдруг вздремнуть на нем миротворческим сном… ну, и так далее. Всех шуточек его не упомнишь, ибо Миротворец – сам по себе сплошная грустная нескончаемая шутка. И, к сожалению, прежде всего – над нами самими. Что еще? Ах, да… Характерными особенностями Миротворца являются переживания по поводу внешних и умственных данных. Поэтому всё красивое и рациональное им беспощадно уничтожается. Ставя равенство между Творителем и Творцом, избавляется и от тех, и от других. Вероятно, в детстве он был бит не только сверстниками, но и подвергался определенным домогательствам со стороны взрослых родственничков и, как следствие, заработал расстройства на сексуальной почве. С возрастом начинает презирать женский пол за свое бессилье; по этой же причине ненавидит пол мужской. Если сам не попадает в архив, то организует его для приятелей. Со временем пиджак меняет на френч, портки – на галифе, штиблеты – на хромовые сапоги, полагая, что так выглядит более мужественным. Кстати, в одном из сапог Миротворец прячет шестой палец. Жутчайшая смесь. Идемте, Флёр.

– Стоять! – рявкнул Миротворец, потянувшись к собеседникам.

– Цыц мне, спущу *мордодеров*! – намекая на опекунов, предостерег его магистр.

– Эй!

– Не фрондерствовать тут – не на марше! – Эвтаназ сделал резкий широкий шаг вперед и заслонил собой командируемого.

– Эй! – не унимался Миротворец. – Э…

– Ну, ты, харя с харизмой! Ментальный кризис заел?! Плохо соображаем? – Эвтаназ, ничуть не испугавшись резкого выпада со стороны Миротворца, ткнул ему под нос комбинацию из трех пальцев, брякнул: «Накось – выкуси!» – и окликнул проходившего мимо корноухого и кривоглазого опекуна в нечистых бутсах, у которого из кармана мятого халата выглядывал кончик невесомого газового шарфика в ярких всполохах мимоз. Подбородок у него был небрит, а вместо пробора розовел шрам. В руках подрагивал никелированный лоток со шприцами. – Вколите-ка ему аминазинчика.

– Что Циррозия? – хрипло поинтересовался опекун, спрятав «мимозы», оброненные ассистенткой Эвтаназа, поглубже в карман. – Когда смена заканчивается?

– Никогда… Работайте… Не напасешься на вас цирроза на всех… – резанул магистр.

– Много вы в нем понимаете, – дрожащим голосом бормотнул опекун, выпустив из прокуренных легких неразделенно-любовный выдох, по которому можно было заключить, что не нашедшая отклика страсть, губительность алкоголя и суета навевают ему мрачные мысли о суициде. Однако служба была превыше собственных переживаний: опекун опустил лоток, и в его треморно пляшущих пальцах появился шприц с длинной иглой и «миротворческим» содержимым. Из иглы вырвался фонтанчик, описал дугу и ударился в пол. Рукав пациента взмыл вверх. Миротворец на время затих, но глазки его продолжали трусливо бегать, и по ним можно было определить, что бравурный марш его хромовой души продолжается, и будет длиться еще очень и очень долго. Не только после инъекций «кубиков», но даже после вливаний кубов.

– А что это за чемоданчик около стены? – спросил Флёр.

– П-портфель с бомбой… – поперхнулся Эвтаназ. – Игрушечный, конечно. Наш активный шизик об этом не знает. Настоящий-то мы отобрали, чтоб не соблазнялся… Что-то мне не в то горло попало. Постучите по спинке.

– А почему у него нет указательного пальца на правой руке? – постукивая между лопаток Эвтаназа, вновь поинтересовался командируемый.

– Ушел в недосягаемое будущее, – дал исчерпывающий ответ магистр.

– А если серьезно?

– Если серьезно, то ампутировали в прениях, – разбрызгивая мокроту, раскашлялся тот, глянув на злобное лицо Миротворца в ядерных воронках, – чтоб его подлая экселенция на кнопку не нажимала.

– Нет, ну честно…

– Отсох за ненадобностью, – припечатал Эвтаназ и снова зашелся в кашле. – Уф! Прошло, кажется…

– Постойте, – опомнился Флёр. – А при чем тут кнопка? Портфель-то игрушечный, вы же сами сказали. Тем более, у него для этой цели другие пальцы имеются.

– Много, я смотрю, вы вопросов задавать начали. Баллотироваться не собрались? – недовольно пробурчал Эвтаназ. – Не положено ему указательный палец иметь, понимаете, не по-ло-же-но… Он им только в ноздре ковыряться может. А это и мизинцем можно делать.

– Так вы бы и мизинец…

– Это еще зачем? – непритворно удивился магистр, заискрив растрескавшейся паутинкой капилляров на глазном яблоке. – Какой вы, смотрю, кровожадный тип всё-таки, Флёрчик… ай-ай, ай-ай… Из вас отличный министр получился бы…

– Вы считаете? – не почувствовав подвоха, засмущался Флёр, конфузливо шаркнув ножкой.

– Ага. Они тоже много вопросов задают и никогда на поставленные не отвечают. А при удобном случае еще и на красную кнопку норовят нажать. Так, поиграться просто, – Эвтаназ невесело покачал головой.

Флёр понял, что толку от магистра не добьется, пристыженно подтянул ножку и замолк. Обернувшись, заметил, что Миротворец дотянулся-таки до угольного чемоданчика и дважды надавил большим пальцем левой руки на красную кнопку. С минуту потоптавшись на месте и наконец осознав весь трагикомизм ситуации, Миротворец вдруг разревелся. Плач его был искренним и ужасным. Чтобы заткнуть этот требовательный испепеляющий вой, напоминав-

ший по звуку не то глас сирены, не то стон диафона[39], хотелось заменить игрушку настоящим чемоданом.

– Шалит дитятко, – не оборачиваясь, констатировал магистр. – Для него же власть – ясли, жезл – погремушка, а овальный кабинет так и вовсе – манежик с «соской»…

Сделал *многосмысленную* паузу и поддел ногой пустой двухлитровый баллон из-под пива, брошенный кем-то из медперсонала.

Флёр засеменил следом.

[39] Диафон – акустическое устройство для подачи с маяков во время тумана мощных звуковых сигналов.

Мессиан

– Следующий кадр, – сказал Эвтаназ, подведя Флёра к существу в челобитной позе с «серебряной» нитью цвета осиновой коры, – Мессиан. Он же – колдун, вещун и прорицатель. Я его еще для себя ласково прозвал Армагеддоша, – магистр сделал продолжительную паузу и опасливо посмотрел в сторону одной из палат. – Впрочем, истинный Армагеддон находится в другом месте. Редкой мерзости тип… Так вот, что касается Мессиана, то в отличие от Творителя и Миротворца, которые бывают во все времена, Мессиан появляется исключительно во времена смут и реорганизации отделов Здания. Полюбуйтесь – чудо в иероглифах…

На расписанной огнедышащими драконами циновке в позе лотоса, с цепями на левой щиколотке и левом запястье сидел фрукт с терновым венчиком вокруг чела. Череп у него был бритым – с шестью черными точками на темени. Во лбу горело красное размытое пятно. С затылка свисал крысиный хвостик-оселедец – давно не мытая косичка, перехваченная аптечной резинкой. На ногах красовались сандалии, на чреслах – набедренная повязка, на месте сосков зияли шрамы, спина же была разрисована татуировками религиозного содержания: священные монограммы, иероглифы, трилистники и… синие, откровенно уголовные, купола – не маковки, но «отсидки». Мессиан бубнил мантры, перебирал четки и неистово лобызал коллекцию крестов, могендовидов и пентаграмм, висящую у него на груди. На циновке лежал рваный полотняный мешочек с выпавшими сребрениками, а также груда каких-то железок: круг «Инь-Ян», свастичка, джамма чакра[40], вилка, пентальфа, звезда с полумесяцем, пронзенное сердце, три рыбы и, наконец, двенадцать эмблем, от косого креста до копья. Сплевывая через левое плечо, Мессиан чертыхался, затем кричал петухом и заходился в трансе. В редкие моменты просветления принимался осенять проходящих опекунов крестным знамением на собственный лад (пальцы – большой, безымянный и средний – щепотью, указательный и мизинец разведены в стороны), отчего складывалось впечатление, что он строит козу и хочет забодать тех, кто ему не кланялся и не припадал к костлявой длани, – а такого за время пребывания в архиве страдалец припомнить не мог. Мессиан без зазрения совести предавал анафеме, насылая на «неверных» мнимых грифонов, химер, василисков, мух, летучих мышей, гадов и черных дроздов. Чему был несказанно рад. Около горящей свечи, стоящей в алюминиевом блюдечке и истекающей стеариновыми апокалипсическими слезами, валялись грязная чалма, рваная епитрахиль и астрологический колпак в кометах и звездах, с венчавшим острый конец лунным серпом. Усами вниз. Там же – сонник, гороскоп друидов и сушеная кроличья лапка. Около стены стояла менора[41], в которой вместо свечей торчали семь покосившихся, пронзительно вонявших сандаловых палочек. Благоухало и гнильцой.

– И говорю вам: покайтеся, ибо грядет затмение на Окно. И свет в Здании погаснет, – прошамкал с пола сребролюбец и, дернув сандалетами, хлопнулся черепушкой об пол.

– Вот вам, пожалуйста. Мал клоп, да вонюч… – кивнул магистр. – Экземпляр, появившийся в Здании не так давно, но уже изрядно подточивший умы неустойчивых служащих. Отличается фанатизмом и дилетантством. Начинает свою мессианскую деятельность с первой ступени в какой-нибудь секте в качестве беспрекословного раба. Еще до того, как приходит в секту, кидается во все экстремальное: от вегетарианства до поедания летучих мышей. Читает много, но беспорядочно. В голове религиозная каша. Очень эмоционален – до истерических всплесков. Любит испытывать судьбу – режет «серебряную» нить. Создав секту, а у данного

[40] Джамма чакра – в буддизме один из двух главных символов, наряду с изображением Будды, сидящего в позе «лотоса». Колесо закона, или Джамма чакра, представляет собой колесо с восемью спицами и символизирует суть буддийского учения – следовать восьми «благородным принципам».

[41] Менора – семирожковый подсвечник, древняя принадлежность иудейского алтаря.

типа был отдел мессианства, создает учение, основанное на том, что он перечитал и не понял на протяжении всей своей жизни. Привлекает таких же, как сам, но исключительно в качестве учеников, ибо лидеров, окромя себя самого, в отделе не признает. Сходить с ума начинает на старте. Продвигается по религиозной ступени семимильными шагами, в полуфинале становится Отцом, Учителем или Матерью – в зависимости от того, какого сумасшедшего начала в нем больше. Рвет со своим непосредственным наставником и создает собственную секту. Перед финишной чертой, за которой находится вымпел сумасшествия, окончательно теряет половую принадлежность и превращается в «Оно – суть есть». Стращает, проклинает, клеймит. Хороший оратор. Велеречив и убедителен. Обладает сильнейшим гипнозом и удивительнейшей практической жилкой – на сходках призывает к отказу от материальных благ, и после подобного рода сборищ всё имущество учеников, как правило, переходит к нему в безраздельное пользование. Но исключительно, повторяю, исключительно осторожен. Секты регистрирует под благотворительные фонды, несанкционированных митингов не устраивает… Правда, подозревая, что с рук ему это всё равно не сойдет и рано или поздно его сдадут в архив, запугивает окончательным разрушением Здания и концом Окна. Спастись могут только избранные, которые являются членами отдела и славят своего гуру. Любит медитировать и вызывать души ликвидированных. Не гнушается ничем и никем – будучи бесполым, одинаково любит женское и мужское начало, причем предпочтение отдает особям не сформировавшимся. Со временем начинает страдать слуховыми галлюцинациями и видит быстро сменяющиеся картинки, отчего приходит к выводу, что всё это не иначе как знаки, подаваемые ему с другой стороны Здания; окончательно убедившись в своей избранности, срывает с себя одежды, горланя, что «тело есть лепестки лотоса, а ткань – пыль и сор», призывает к покаянию и очищению отделов от скверны. Ну, и вот итог… – Эвтаназ сокрушенно покачал головой.

– А он не поранится? – спросил Флёр, показав на фетиши, в коих копошился Мессиан: косой крест, нож мясника, сабля, палка, чаша со змеей, мешочек для денег, булава, алебарда, перевернутый крест, Т-образный крест, пила, копье[42]. Рядом с фетишами лежали две открытки. На одной была изображена мужская компания. У всех званых за «тайный» стол заботливая рука «избранного» выколола булавкой глаза, а у находившегося посреди и возглавлявшего вечерю – еще и вырвала сердце. Вторая открытка разительно отличалась от предыдущей. Портрет Мессиана в полный рост: руки раскинуты, над челом – нимб, в грудную клетку вклеено мертвое сердце с терновым венком, выдранное из первой картинки. На лице полоумный улыбон, в дланях – цветы с желтыми лепестками. Ядовитые лютики. Командируемый мысленно перенес сердце на первую открытку, и оно забилось, затрепетало и запульсировало. При этом выглядело оно именно как живое сердце, оплетенное колючими пальцами терновника, с багряными каплями крови. Когда же он бросил взгляд на открытку с Мессианом, то сердце странным образом снова превратилось в обмотанный колючей проволокой полый мышечный орган, разделенный на камеры, с желудочками и предсердиями, с венами, узлами и клапанами, которому не помогло бы ни одно аортокоронарное шунтирование. Просто красноватый комок с застоявшейся кровью.

– Я вам так скажу, – чуть слышно, но с нажимом произнес магистр, – всё, что вы здесь якобы видите, – это иллюзия. Вы меня поняли?

Флёр непонимающе замотал головой.

– Хорошо, слушайте. Пока я вас трогать не буду. И на цепь не посажу. Но как только вы ему проговоритесь, что всё это видели, то ни в какую командировку не отправитесь. Это – его болезнь, а не ваша. Может, вы еще будете утверждать, что и стигматы видите? – Командируемый посмотрел на конечности Мессиана – и обомлел. На них были кровоточащие ранки. – Так что, видите или нет? – настойчиво повторил Эвтаназ.

[42] Эмблемы и символы апостолов.

– Нет, – солгал Флёр.

– Умничка, – добродушно рассмеялся магистр, радостно потерев руки. – А то вы меня напугали. Ладно, постараюсь объяснить. Не знаю, получится ли. Тут какая-то неувязка в психиатрии происходит. Всё, абсолютно всё, что вы здесь видите, само по себе материализовалось. В том числе и стигматы. Суть в том, что в каждом из нас существует так называемый Мессия, который несет в себе идею спасения Здания. Но сама идея таится так глубоко в недрах подкорки, что у подавляющего большинства никогда наружу не выходит. С точки зрения самых глубинных уровней подсознания, мы с вами абсолютно одинаковы, поскольку и в вас, и во мне хранится вся информация о Здании, – примерно так же, как Здание, если бы Оно было мыслящим существом, могло бы считать, что состоит из нас всех. В свою очередь, Здание, не могу этого, конечно, утверждать точно, находится среди подобных Ему Массивов, – так сказать, среди множества Зданий в огромном Здании Зданий. И надо полагать, что наше с вами Здание таит в себе какую-то информацию, которую знает только самое важное Здание Зданий. Но если об этом знает Оно, то подсознательно об этой информации знаем и мы, так как являемся Его частью. Другими словами, существует некто Флёр, который отличается от Эвтаназа по ряду физиологических и интеллектуальных признаков, но на глубинном уровне и Эвтаназ, и Флёр одинаковы. В них есть данные о Здании, в котором они живут, и информация о других Зданиях, в среде которых существует наше Здание. Так вот, конкретно идея о спасении Здания пришла извне – из Здания Зданий – и касается она не нас с вами, а непосредственно самого Здания… Как вы сами понимаете, подсознание для нас с вами закрыто, и этим мы отличаемся от сумасшедших. Что же происходит с ними? А вот что. Подсознание постепенно выплескивает наружу свои данные, сознание истощается, и слои личности меняются местами. Казалось бы, можно говорить о некоем суперсубъекте, в котором вся информация Здания подменила его личность. Представляете, Эвтаназ, Флёр, Циррозия и другие – в совокупности, в одном, так сказать, лице. Потрясающе. Но такого быть не может по одной простой причине. Грубо говоря, физические данные неразрывно связаны с психическими, и если бы подобное произошло, то вам пришлось бы менять свою физиологию. Но отчего-то этого не происходит. Почему? Да потому, что окончательной смены сознания подсознанием не бывает. Какие-то части подсознания и сознания остаются на своих незыблемых местах. Вы можете сойти с ума по поводу своей профессиональной непригодности, и часть подсознания, таящая в себе цветные карандаши и краски, выплеснется наружу. Но, замечу, все остальные части, которые держат в себе мадам Литеру, Фактуру, Герцога и печатный цех, – останутся на своих местах. Словом, в Здание вы в любом случае не превратитесь. Максимум – отрастите длинные волосы, будете небрежно одеваться и со временем станете похожи на креативщика Стеклографа. Что же касается Мессиана, то место его сознания заняла еще более потаенная часть нашего подсознания, которая, минуя информацию об отделах Здания, *полностью* поглотила сознание и изменила не только его психику, но частично и физиологию. Она подменила его собой. Опять же, вопрос: так, может, он на самом деле Мессия? Как психиатр, отвечу вам – нет.

– Почему же? – пришел в изумление Флёр.

– Вот такого рода сомнения и приводят к сектантству, – печально покачав головой, ответил Эвтаназ. – Да потому, что ни один Мессия не будет думать о себе, он думает только о Здании, его интересует не он сам, в качестве Спасителя, а результат его деятельности, то есть мы с вами. Его интересует то, *что* он говорит, и то, *как* его слушают. Мессиан же думает только о себе, его интересует то, что *он* говорит, и то, как *его* слушают. Он глубоко неверующий субъект и в высшей степени эгоцентрик. Ученики его интересуют примерно так же, как прошлогодние испражнения. Он глух, слеп и невежествен. Святость для него – это он сам. Он отрицает Здание, поскольку считает себя выше всяких там отделов с их низменными целями… И вообще, знаете, чем истинная вера от показной отличается?

– Чем же? – вяло поинтересовался командируемый.

– Истинная вера – это гранит, глыба, непробиваемость. Но этот гранит – неосязаем. Он внутри. И он молчит, – подбирая слова, сказал Эвтаназ. – А показная вера – это блюдечки, медиумы, спиритизм и свечной «перегар». Истеричность, вериги и обеты, одним словом… А шелохнешь веру эту, приглядишься – на поверку стекляшками разноцветными оказывается, от одного удара бьющимися… Ведь если постоянно окружать себя декорациями, то рано или поздно и жизнь декоративной становится, и алтарь – кумирней, и вера – фотообойной. Что это там на ваших новых wall-paper'ах нарисовано? Это я – нимбосветящийся, коленопреклоненный, с фальшивыми слезами, – а это махонькое пятнышко, пальцем размытое, разслюнявленное – вера моя. Только гранит не меняется, а вот шпалеры часто перелицовочки требуют. Они же от рук чужих грязнятся быстро. Ясно вам теперь? Кто чревовещание с чревоугодием путает, вентрологию[43] – с венерологией?.. Иными словами, где киот с мироточащей, плачущей иконой, а где консоль с пошлой открыткой?

– Более-менее. Много непонятного, правда, и нелогичного на мой взгляд, но в общих чертах… Кстати, а почему Мессиан становится таким, как бы это сказать, иконописным, что ли? Ненатуральным, – поинтересовался Флёр.

– Ага, значит, и рожу вы его рассмотрели?

– Успел, – ответил командируемый. – У него лик.

– Не лик – маска! И стигматы его – это лишь гноящиеся ранки. Дело в том, что обладание этими священными знаками – великий дар, который следует еще заслужить. И дается он только избранным. Но к нашему случаю сие не относится. Это не дар, это – кража. Он сам себя довел до такого состояния. Просто наступает определенный момент, когда Мессиан начинает верить в свое предназначение. Если раньше он хотел, чтоб ему поклонялись, как парадигме, началу всех начал, чтоб его славили и последователи целовали его немытые ноги, то со временем он настолько срастается с мыслью о собственной исключительности, что полностью лишается собственного сознания. Ему уже не нужно поклонение, ему просто хочется быть Мессией в полном смысле этого слова. Раньше он еще был самим собой, хотя и с известными вывертами, но в самом конце он уже истинно жаждет спасать Здание, врачевать, пророчествовать. Однако поскольку внутренне он не меняется и глубоко в себе так и остается Мессианом, то лик со стигматами у него фальшивые. Морда с дырочками.

– То есть вы хотите сказать, что когда он понимает, что не является избранным, он и сходит с ума?

– Не совсем так. Если бы у него хватило мозгов на подобное осознание, я думаю, он бы излечился без посторонней помощи. Наоборот, именно пока он не понимает, что он не посвященный и не спаситель, он остается Мессианом.

– И всё-таки не очень ясно, почему материализация религиозной атрибутики столь сумбурна, – Флёр неожиданно для себя заговорил на языке магистра.

– О, это очень просто. Вот вы, допустим, призрак, который считает себя художником. Вы бесталанны и амбициозны… Не обижайтесь, не обижайтесь, – это я для примера… Изобразительному искусству нигде и никогда не учились. Но поскольку вы живете в Здании, то примерно знаете, что собой представляют художники, поскольку не раз видели подобных типов на этажах. И что вы делаете для того, чтобы стать живописцем? Приобретаете кисточки, мольберт, краски и тому подобное. Начинаете шедеврить – и таким образом становитесь художником. Все твердят, что вы не более чем призрак, и мазню вашу творчеством назвать язык ну никак не поворачивается. И только вам одному ведомо, что вы не призрак, а истинный Творец. Вы сошли с ума. Ха-ха. Так и тут…

– Позвольте, как же так? – перебил его Флёр. – Одно дело – приобрести атрибутику, другое – когда она сама материализуется.

---

[43] Вентрология – искусство говорить без артикуляции губ.

– То-то и оно. Почему я вас и просил не говорить ему, что вы это видите. В этом-то весь казус и заключается. Оно само материализуется.

– То есть как – «само»? – обомлел командируемый.

– А вот так, – пожевав губами, задумчиво отозвался Эвтаназ. – Мы думали, что ему кто-то приносит всё это. Ставили кордоны, обыскивали навещавших. Нет – само. Ладно, крестики, может, не досмотрели. Но лик, лик!

– Удивительно! И как вы это объясняете? – спросил Флёр.

– А никак, – с присущим ему профессионализмом в голосе ответил Эвтаназ. – Диагноз Мессиана, в отличие от других болезней, напрямую со Зданием не связан. И если Творитель с Миротворцем помешаны больше на своем положении в Здании, то Мессиан – на своем положении в Здании Зданий. Что же собой представляет Здание Зданий, никто, к сожалению, не знает. А может, и к счастью… Поэтому лечить его гораздо сложнее, чем остальных. Понимаете, ведь если ему сказать, что мы всё это видим, – это ж, извините, признать, что он Мессия. Поэтому и говорим ему, что всё это – плод его воображения.

– И что? Верит?

– Вначале не верил, но когда забывается, то мы, естественно, прибираем тут. Проснулся, а религиозного мусора нет.

– Но он же не слепой, раны видит.

– Убеждаем, что поранился. Кстати, поскольку он страдает редким *комплексом полноценности* и *самодостаточности*, то его от других отличает еще и то, что ему у нас нравится. Совсем не знаю, что с ним делать. Все отсюда вырваться пытаются, а он словно бы через *очищение* проходит. Говорит, что это ему испытание судьбой дано. Отпустишь – перезаражает всех, не отпустишь – совсем с ума сойдет. Сами понимаете, вылечить это полностью невозможно, можно только залечить… И что странно: периодами у него стойкая ремиссия наступает – раны зарастают, атрибутика исчезает, вместо маски – вполне нормальное лицо. Над своими идеями смеется, миролюбив, никаких мессианских замашек. А потом опять: бац… и стигматы.

– Хорошо, а почему всё-таки атрибутика, как вы выразились, такая, мягко говоря, взаимоисключающая?

– Тут я, пожалуй, смогу внести ясность. Представьте на минутку, что вы не только художник, но и архитектор. Сразу кульман с готовальней появятся. А теперь вообразите, что вы, ко всему прочему, еще и модельер. Поверьте мне, швейной машинки вам не избежать. Вот я и подозреваю, что идея мессианства, я имею в виду истинную идею, имеет только одно содержание, а именно – спасение Здания или, если угодно, Зданий, но вот форм у нее очень много. И чем ближе вы воспринимаете какую-то определенную форму, тем сильнее она вас поглощает. Был бы Мессиан более разборчив, может, и отделался б ликом да стигматами. Но так как он ни на чем определенном не остановился, то из глубин подсознания вырвалось всё, что там было. А как мы видим, было там много чего. Сразу и не разберешь. Винегрет-с… Вообще, если по-научному, то мозг наш задействован всего на несколько процентов. И это правильно.

– Серьезно? А почему так? Не лучше ли было его полностью задействовать? – заинтересовался командируемый.

– Не лучше. Слишком много информации. И зачастую та информация, которая к нам поступает, совершенно нам не нужна. Но она просочилась. Куда бы ее? В подсознание. На склад. Несколько процентов – это наше сознание. Это – мы. А склад – это Здание. Странно я как-то выразился. Вам интересно?

– Очень, – признался Флёр.

– Ну вот. Далее… Процесс притока и оттока из подсознания в сознание регулируется так называемым клапаном, или сточным фильтром.

– И зачем же он?

– Ну, вы даете! Не поняли? Чтоб в Мессиана не превратиться… Вы понаблюдайте за сумасшедшими, у которых подсознание в свое время впитало информацию о, предположим, спасении Здания. И у которых личностные проценты настроены на вытирание пыли и мытье посуды. И суждено им всегда быть *полопротирающими* личностями и *посудомоечниками*. И тут – хлоп! – фильтр дал течь. Сознание впустило в себя идею спасения Здания. Ни книжек они не читали, ни Здания толком не знают. Так только, на этажах чего-то там вытирают, в проемах. И на тебе – «Спасать»! Но их проценты твердо держат тряпку с ведром. Кадилом там и не пахнет. Вот если бы их мозги были ориентированы на спасение Здания с самого начала, тогда – они в норме. И не норма для них – мыть полы…

– А как узнать, на что ты ориентирован?

– Э… Вот я вам другой пример приведу. – Эвтаназ недовольно дернул плечами. – К примеру, подсознание впустило в себя зайчика. Клапан забарахлил, и вы ушками застрекотали. Но вы же не зайчик.

– Я не об этом. Как узнать, на что настроены мои проценты?

– На градусы, надо полагать, – съязвил магистр. – Послушайте, оставьте меня в покое. Не знаю я. Честное слово. Говорю же вам, психоанализ и психиатрия – вещи абсолютно необъяснимые… Толком никто о них не ведает, но все о них пишут… Бессознательное, подпороговое, подсознательное, конгруэнтность[44], эмпатия[45]… «Оно», «Я», «Сверх-Я»… Итог – коллапс… Хотите ножку в штиблете сломать?

В этот момент Мессиан оторвал от циновки с огнедышащими драконами изможденное личико, пошурудил ручонками по тонким аурным полям и весям, гавкнул нечто невразумительное, глянул присущим данному *архитипу* шизануто-дегенеративным косоньким взглядом и заунывно протянул: – Все во всём, и всё уйдет. – Кривой, с изглоданным ногтем, перст указал на озадаченного Флёра. – Вы исчезнете, и вместе с вами исчезнем мы.

Командируемый пошатнулся и уцепился за рукав магистра.

– Что это он говорит такое? – испуганно прошептал Флёр.

– Не обращайте внимания, пророчествует сандаловый. У них, конечно, бывает такой дар, но сомневаюсь, чтоб наш подопечный им обладал.

Мессиан повернул голову в сторону Эвтаназа, окинул его лукавым взглядом юродивого и вдруг пророкотал:

– Лейкемией накроешься!

– Я же говорил: *сандалевый,* – усмехнулся магистр. – Зайка наш, психотик, психопатик.

– А где его последователи? – успокоившись, спросил командируемый.

– Как, вы их не видите? Вот же, он их в руках держит. Маленькие такие, обкатанные. Прозелитики. С пониженной вменяемостью.

Флёр мельком взглянул на четки и тут же с любопытством нагнулся. Черные лакированные шарики, нанизанные на одну, цвета осиновой стружки, «серебряную» нить, казались совершенно одинаковыми и бездушными. Мессиан быстро перебирал их, и от этого они походили на смоляной гибкий хвост грызуна.

– Отличаются безволием, апатией и неустойчивостью психики, – подчеркнул Эвтаназ. – Глупее их только сама глупость. Почти все загипнотизированы Мессианом, поэтому, сами понимаете, мозговой координации у них – ноль. Считают Мессиана одновременно светочем, скипетром и державой. Абсолютные дегенераты, еще хуже религиозного пройдохи. Их хлебом

---

[44] Конгруэнтность (*лат.* congruens, congruentis – соразмерный, соответствующий, совпадающий) – в психологии – состояние, когда все внутренние убеждения, стратегии и поступки личности полностью согласуются между собой и ориентированы на получение желаемого результата; состояние целостности и полной искренности, когда все части личности работают вместе, преследуя одну цель. Способность личности приходить в контакт с собственными чувствами и способность их искренне выражать.

[45] Эмпатия (*англ.* empathy) – в психологии – вчувствование; умение и желание встать на чужую точку зрения.

не корми, водкой не окропляй – дай только к дланям поприкладываться, лишь бы не работать. Дуреют от одного слова «Ом». Из гипноза, к сожалению, вывести не удалось. Мы их вместе с «папашей» в архив сдали, чтоб не скучно было. Ладно, идём.

– Будьте вы прокляты! – напутствовал их Мессиан, и с золотой серьги в ухе в виде перевернутого креста спрыгнула тощая вошь.

– Всандальте ему чего-нибудь атеистического, – крикнул магистр опекунам, подведя Флёра к резным воротам.

Командируемый на мгновение замешкался и снова посмотрел на Мессиана, от которого исходили странные засасывающие импульсы.

– Не вздумайте смотреть на него сейчас, – предостерег Эвтаназ, – сделает из вас катышек на четках.

– Не ведаете вы… – вдруг произнес Флёр и, закатив глазные яблоки, потянулся к Мессиану. – Он же избранный… Вы не понимаете… Вам не дано… Вы не на той ступени развития…

Магистр ухватил командируемого за рукав и резко дернул.

– Не смотрите на него, говорю! Засосет в секту!

– Что вы, что вы… – меланхолично проворковал Флёр. – Мне так хорошо…

Магистру ничего не оставалось, как дать Флёру затрещину. Командируемый тотчас пришел в себя.

– Что это со мной было? – потирая щеку, изумился он.

– Райский запах ада. Напугали вы меня. Я уж думал, всё – придется вас в смирительную закатывать.

Тут же подбежал опекун с разношенным и незатейливым, как тапка, лицом, держащий в грубых красных руках «Атеистический словарь». Потеснив Мессиана и расправив полы белого халата, опекун положил рядом с циновкой старый номер журнала «ОМ», скрестил ноги, поправил слуховой аппарат, панцирем покрывавший распухший моллюск багрового уха, и устроился на глянцевой обложке.

– Заповедь одиннадцатая, – гайморитным голосом провозгласил он, – не становись фанатиком. – Опекун раскрыл книгу и, тщетно борясь с тиком шеи, занудил: – Фанатизм религиозный, исступленный, неистовый – слепая, доведенная до крайней степени приверженность религиозным идеям и неукоснительному следованию им в практической жизни, нетерпимость к иноверцам и инакомыслящим… Особенно проявляет себя фанатизм религиозный в религиозном сектантстве… Типы фанатиков бывают различные: от пассивно-созерцательного, мистического, до активно-экстремистского… Крайним выражением фанатизма религиозного является изуверство религиозное…

– Ом, – качаясь из стороны в сторону, откликался, не размыкая рта, Мессиан. – Ом.

– К следующему уроку подготовить домашнее задание на тему: «Изуверство религиозное». Буду спрашивать. Ом? Да, кстати, прошлый урок выучил? – закрыв словарь, поинтересовался опекун.

– Ом, – отозвался Мессиан.

– Ну-ка, проверим… Что такое «Ом»? – поправив панцирь слухового аппарата, спросил опекун.

– Единица измерения электрического сопротивления СИ; сопротивление проводника, между концами которого при силе тока 1А возникает напряжение 1В. Обозначается «R», – напрягшись, ответил Мессиан.

– Умничка, – похвалил его опекун. – Каждый день себе это повторяй, а про священный смысл советую забыть. Тебе это вредно.

– Ом! Не поминайте меня *ликом*, Ом! – вдруг выплюнул Мессиан и приклеился лбом к циновке.

– От… ексель-моксель… чтоб тебя… опять шиза накатила… – выругался *белохалатный*, толкнув Мессиана, который, не подавая признаков жизни, завалился на спину, скрестив сухонькие ручки на вечно голодной утробе.

Недовольный *мордодер* пожал плечами, разомкнул ноги, потрогал скрюченное тело Мессиана, тот не отреагировал; тогда опекун распрямился и со словами: «Подлец! Снова, выхлопень астральный, из тела выплюнулся», – подхватил журнал и пошел прочь.

– Осторожно – «тумбочка», – Эвтаназ потянул командируемого в сторону от привалившегося к стене не прикованного субъекта с «выдвижной» нижней челюстью, похожей на сломанный ящик не то стола, не то комода. «Серебряная» нить у него была цвета прессованных опилок.

– А? – спросил командируемый.

– Мебель-обездвиженка – мозжечок разжижился. Спит всё время, – особо не вдаваясь в подробности, пробурчал магистр, повел из стороны в сторону мясистым носом и строго спросил: – Что это от вас как будто рыбой тухлой пахнет? Или мне кажется?

Флёр посмотрел на кончик галстука, в изумрудной тине которого плавала брюхом вверх дохлая рыбешка.

– Ах ты, – посетовал командируемый. – Я его писков из-за этих криков даже не услышал. Ну, ничего. Он у меня самовосстанавливающийся. – Флёр нажал на узел, Томми-Тимошка встрепенулся, вильнул золотым хвостом, выпустил несколько идеально круглых пузырей, подхватил мотыля и, переваривая его, затаился под листом кувшинки.

Магистр подозрительно посмотрел на командируемого.

– Сенильным слабоумием не страдаем? А то могу рецептик выписать.

– Это друг. Тимошка. Познакомьтесь.

– Понятно. Эвтаназька, с вашего позволения. – Магистр, изобразив рукопожатие, прикоснулся к галстуку. Томми испуганно задрожал и нырнул вглубь. – Вона как! Игнорирует, подлец. Ладно, я ему устрою как-нибудь рыбный день… Поехали дальше. Следующий тип – это Инфантил, – произнес Эвтаназ и озабоченно, словно что-то для себя решая, покосился на командируемого. – Нет, всё-таки вы какой-то странный, Флёр, с отклонениями… По заказу клиентов аквариумы не тонируете?.. Но не будем усугублять… Продолжаю… Инфантил, или Герцог, известен в Здании тем, что играет в игры, которые придумывает сам. Психопатия Инфантила основана на том, что он, придумав свою игру, начинает жить только в ней. Герцог – однодум, и реальность для него не существует. Опять же, замечу, инфантилов на самом деле гораздо больше, чем мы полагаем. Большинство из нас, якобы нормальных, является, по моему наблюдению, полуинфантилами. Но только если наши игры проявляются в каких-то отдельных областях, – семья, карьера и другие хобби, – а стало быть, игр у нас бесконечное множество, то у истинного Инфантила игра одна – навсегда, везде, – и она полностью поглощает всю его жизнь. Ведь, как известно, мы в некоторых отношениях являемся манипуляторами, а в некоторых, наоборот, куклами. Знаете, как бывает: в своем отделе кобелем на всех смотрите, порыкиваете, погавкиваете из кабинета, самца из себя корчите, а стоит вернуться в свою ячейку, в каморку к отпрыскам с мегеркой, удивительная метаморфоза происходит – подкаблучник, набоечка. И вовсе вы уже не грозный овчар, а так – такса подшкафная… Пока мы думаем, что сильны и непобедимы, мы, безусловно, являемся инфантилами, стоит же нам стать слабыми и никчемными, и главное – смириться с этим, принять сущее со всеми минусами и плюсами, мы тотчас становимся нормальными. Образно выражаясь, не следует никогда забывать, что сапог – это не только сверкающее хромовое голенище, это еще и грязная подошва… Другое дело – настоящий Инфантил. Будучи куклой своего больного воображения, он считает, что является полновластным хозяином собственной жизни. Тут-то и кроется основной «бзик». Скажу вам так – все мы без исключений являемся одновременно как статистами, так и режиссерами. Но стоит сосредоточиться на чем-то одном – возомнить себя гениальным неповторимым

постановщиком спектаклей по сворованным пьесам или, напротив, никчемным актеришкой – «кушать подано, в рожу дадено», – как театр нашей души сгорит. Впрочем, я смотрю, меня из психиатрии в конъюнктурную литературку повело… Не допил… Одним словом, вкратце, болезнь его протекала так: Герцог начинал как простой кукловод из отдела игровых автоматов. Полагал, что Здание – это большая игра, в которой каждому отведена своя роль. С треском вылетел из отдела, когда выстрелил в начальника из плазменного оружия, утверждая, что вовсе это не начальник, а осьминог, щупальца которого держат подчиненных в страхе и суеверном ужасе перед грядущей ликвидацией. Обдал чернилами с ног до головы, но увидев, что тот не исчез, а отчего-то больше прежнего рассвирепел, попытался перерезать ему «серебряную» нить. После того как и это не помогло, хотел заколоть его тем самым плазменным оружием, а именно – чернильной ручкой, которой стрелял, но тут-то его и повязали… Любит игры, рассчитанные на оттачивание реакции и улучшение работы вестибулярного аппарата. Предпочтение отдает «душилкам», «мочилкам» и прочим «стрелялкам». Достиг в этом неимоверных результатов. Создал свой замок с матерчатыми куклами, и теперь сражается с ними. Перезаражал идеей игр половину отделов, благодаря чему многие убивают время, играя в карты, бильярд и кости. Благо, в Здании со «стрелялками» покончено – они теперь вместе с ним, в архиве, почти со всем отделом игровых автоматов. Инфантил агрессивен, но нападает исключительно на кукол, поэтому, если не боитесь, можете его навестить.

– А как же вы? – боязливо замешкался командируемый.

– Мне еще обход делать и зубы вырывать, я вам говорил, кажется. Пока все отделы обегаешь, пока все зубы выкорчуешь, или как там… Сами знаете, в мои лета… Да не бойтесь, он вас не обидит. Если вообще заметит. Потом встретимся. Надоест – стучите. Только сильно. А то из-за этих криков, в самом деле, ничего не слышно.

Эвтаназ загремел засовом, – ворота распахнулись, наружу *вырвало* смрадом и затхлостью, – втолкнул трусливо переминавшегося Флёра внутрь и резко захлопнул ворота. Командируемый попятился, развернулся, потянул два железных кольца на себя, но с другой стороны Эвтаназ быстро вставил деревянный засов в металлические пазы и глухо проорал:

– Не дрейфьте, я скоро!

…А дальше была мгла, изредка пронзаемая далекими одиночными выстрелами. И Флёру на миг показалось, что он уткнулся в упругое крыло летучей мыши с тонкими серпантинными прожилками…

Пластмассовый Герцог

Вскоре глаза привыкли к темноте, и командируемый, спустившись по долгим каменным ступеням вниз, оказался в огромном слабо освещенном зале. Сделал несколько нерешительных шагов – и в ужасе остановился: облупившиеся ледяные стены в трещинах, развалах и выбоинах произвели на него самое гнетущее впечатление; тут и там валялись грустные автоматные гильзы и пустые неприкаянные рожки. Он испуганно огляделся, интуитивно дернулся вправо и тотчас отпрыгнул – раздался мощный взрыв, каменная кладка подозрительно накренилась, и кусок стены с грохотом обрушился на то место, где секунду назад стоял Флёр.

Стало совсем светло – из проема, образовавшегося в стене, появился Герцог, в бордовом камзоле, сияющем золотым шитьем и позументами, с пуговицами из драгоценного металла, с выглядывающим из-под ворота тонким кружевным жабо, с парчовым плащом, перекинутым через левое плечо… Герцог выглядел бы более чем симпатично, если б не безобразные «украшения», облепившие его с ног до головы: камзол во многих местах был в подпалинах, штукатурке и с одной стороны дымился. Правый рукав превратился в ошметки беспомощно болтающейся материи, рука до плеча отсутствовала. Из кармана камзола торчала кожаная кепка *негативного* цвета с рыжей буквой «Ц» на козырьке. Жабо, как оказалось, было не столько тонким и кружевным, сколько – будто раздавленная жаба – рваным, грязным и в подозрительных пятнах. Пуговицы камзола самоубийственно свисали на тонких нитях; от двух нижних остались лишь фантомные боли. Флёр опустил взгляд и обескуражено замотал головой. Вместо облегающих аристократичные ноги кружевных панталон и ажурных шелковых чулок на Герцоге были протертые, оттянутые на коленях трикотажные треники с фирменным знаком «Status-Lapsus» на правой ляжке и тонкими рваными каймами по бокам. Лампасами. Кожаные башмаки с серебряными пряжками валялись в далеком прошлом – в настоящем их сменила спортивная обувка. Правую ногу украшала кроссовка на толстой резине. Она закрывала щиколотку, была на липучке и выглядела достаточно сносно. Вторую ногу венчала чуть закрывающая лодыжку истоптанная баскетка с раскрытым зевом оторвавшейся подошвы. В дырочки баскетки была вдета развязавшаяся бечевка. В довершение всего из обуви торчали линялые полосатые гетры, которые должны были доходить до колен, но отчего-то сползли, и ноги Герцога смотрелись в них словно кривенькие сучки, неряшливо завернутые в несвежие носовые платочки. Командируемый поднял голову и всмотрелся в изможденное лицо Герцога, которое, как и бахромистое жабо, было жутковатым. Несколько существенных штрихов дополняли обезоруживающую внешность: перебитый кровоточащий нос, лоб в каких-то, чуть ли не напалмовых, разъединах, ободранная правая щека… От скошенного и ощетинившегося небритостью подбородка тянулся свежерозовый шрам, кончавшийся где-то на темечке. Герцог был подстрижен, а скорее – выпален, под бобрик; оттопыренные наивные уши были без мочек: ими, вероятно, полакомились крысы.

«Серебряная» нить цвета киновари слабо подрагивала, а в некоторых местах даже вовсе не проглядывалась.

Единственное, что было значительным во внешности аристократа, так это глаза и брови.

Глаза – карие и очень печальные. Казалось, что это два глубоких бездонных колодца, внутри которых плещется не «живая вода», но темно-коричневыми волнами тяжело колышется густая всасывающая мертвая смола, несущая погибель всему живому, лишь стоит этому живому соприкоснуться с ее обманчивой сладко-чайной поверхностью.

Левая бровь Герцога была совершенно седой и по форме напоминала кокон с невылупившейся бабочкой, правая же – аспидной и подвижной, будто пыталась взлететь.

Аристократ – брови вразлет, нос вразлом, тело вразброс – покачнулся, точнее, накренился, выщелкнул изо рта несколько зубов, попытался потереть разбитую челюсть правой

рукой, но вспомнив, что руку оторвало, с каким-то фатальным равнодушием качнул головой из стороны в сторону (жест, символизировавший его отношение к физической стороне бытия) и скинул с левого плеча плащ – как оказалось, завязанный узлом. Тот развязался, и из плаща вывалились трофеи в виде замордованного животного непонятной видовой принадлежности, а также дохлого осьминога с проломленной головой и полудюжины оружейных стволов. Затем герой вытер левой рукой кровоточащий подбородок и задумчиво процедил:

– Вот так и живем… Портуланы[46] и портупеи, кортики и бортики… И почему меня все сумасшедшим считают?.. еще неизвестно, кто здесь «тук-тук»…

Взгляд его остановился на Флёре, Герцог осекся, правая бровь взвилась вверх, он отпрянул, сорвал полевой рюкзак, торчащий за спиной, швырнул себе в ноги, быстро сунул в него левую руку и вытащил огромный блестящий агрегат.

– Ты кто такой? – подозрительно рыкнул он, направив на Флёра дуло. Командируемый попытался сделать шаг назад, но тотчас был остановлен пронзительным командным криком: – Стоять! Прыжок на месте – провокация! Шаг в сторону – побег. Стреляю без предупреждения!

– Флёр я, – дрогнувшим голосом прошептал командируемый.

– Кто?! – не расслышал Герцог. – Филер? Фигляр?

– Нет, Флёр. – По спине командируемого побежала тонкая липкая струйка, футболка прилипла к острым лопаткам, а на голове от страха зашевелились волосяные луковицы.

– Кто?! Откуда?! Не создавал я таких! От мага приковылял? Признавайся!

– Я, ну, это… – тихо пролепетал Флёр.

– Отвечать по существу. Призрак, что ли?

– Не-а, – покачал головой командируемый. – Флёр я.

– Что «не-а»? Ты че меня морочишь? Выглядишь как призрак. Огненными шарами плюешь? Где оружие?

– Гражданский я, – чуть слышно произнес Флёр.

– Ага, как же, дури мне башку. Я таких у мага видел. Потом сзади навалишься и – поминай, как звали. Летать умеешь?

– Умею, – признался командируемый.

– Точно, призрак, – заключил Герцог. – Марш к стене, Ферт, кончать тебя буду – плазменным. Размажу – и дело с концом.

– Не надо кончать, я хороший. Флёр я. Из отдела лингвистики. В командировку, – запричитал бедняга.

Герцог опустил дуло, окинул его не сулящим ничего хорошего мрачным взглядом, приказал повернуться вокруг оси, тщательно оглядел со всех сторон, заставил вывернуть карманы и, не удовлетворенный результатом, приказал:

– Ну-ка плюнь на стену. Небось разъедает камешки-то.

Командируемый попытался исполнить приказ, но вместо слюны из него изверглась хорошая порция спирта.

– С кем пил? – жестко спросил Герцог.

– С доктором, – отплевываясь, отозвался Флёр.

– С ласковым коновалом, что ль? – лицо аристократа вдруг заметно подобрело, и на левой щеке выступила симпатичная ямочка, полученная, вероятно, в одной из драк. – Да, круто ты попал.

Командируемый кивнул. Герцог усмехнулся, обнажив ряд гнилых десен с остатками недовыбитых зубов, сунул блестящий агрегат в рюкзак, протянул его Флёру, кепку насыщенного черного цвета нацепил на бобрик. Пробормотал миролюбиво:

---

[46] Портуланы – компасные карты, морские навигационные карты, использовавшиеся с XIII по XVI вв. при торговом мореплавании в Средиземном море.

– Ну, тогда пошли. Раз с самим эскулапом куражился, так ты точно не от мага. Как там дед вообще… лютует?

– Вроде нет, – ответил командируемый, пытаясь поднять за лямки громоздкий рюкзак с множеством карманов.

– Немочь ты моя бледная!.. Одно слово – Флёр. – Герцог без усилий закинул на спину рюкзак и пробормотал: – Никакой помощи от Здания. Так вот инвалидом и останешься, никому до тебя дела нет. Сам руку не пришьешь – так тебе вторую оторвут. Идем, расслабимся. Я на сегодня закончил.

– А далеко? – деловито осведомился Флёр.

– В каминную, за углом. Лобстера будешь? Или могу осьминога в собственном соку предложить.

– Не знаю, никогда не пробовал.

Герцог недоверчиво посмотрел на него и с каким-то сожалением произнес:

– Что ж ты в жизни видел, если лобстера не ел?

– Взятки видел, трюфели, – задумавшись, начал перечислять Флёр. – Спирт еще пил. Девок лицезрел.

– Бляшек из секонд-хенда?

– Кого?

– Магдалин, из третьих рук в пятые передающихся…

– Простите, не понял…

– Лайкр, спрашиваю, битых пероксидом, видел?! Из сферы обслуживания, но не из бутиков, – не выдержал Герцог, повысив голос. – Многофункциональных – с заглотами и глубокими менуэтами…

– Видел, – подтвердил командируемый.

– Умудрённый, – заметил аристократ, успокоившись. – Их «стройные» ножки ни одним *курвиметром*[47] не измеришь… Мерил как-то… Только изнашиваются они быстро. Надо полагать, от трения… – Он на мгновение залучился, посмотрел на командируемого и спросил: – Кстати, тебе от роду-то сколько?

– Немного, – уклончиво ответил Флёр.

– Зелень ты, зелень… А я вот годами тут. Что там вообще в Здании творится? Менисками пошевеливают? Промискуитетничают? Блудят?.. Как Циррозия? Про меня не спрашивала?

– Да так… К реорганизации отделов готовятся вроде бы… Циррозия в порядке. Про вас не спрашивала.

– Жаль… как всё-таки чувства скоротечны и скоропостижны, – горько вздохнул Герцог. – А я вот скучаю по ней. Как она там без меня? С кем? Эх, ладно. Развела, стало быть, судьба… Осталось имя. – Он щелкнул себя по козырьку. Буква «Ц» вздрогнула. – Ну, а насчет Здания… Шнифт[48] новый ставить собираются?

– Простите?

– Шнифт. Окно, в смысле… Ну, это… глаз в другое Здание…

– Собираются, кажется, – Флёр туманно пожал плечами.

– А, ерунда. Меня это всё равно не коснется. Сколько себя помню, при всех нововведениях выживал. Отделы ликвидируют, а меня словно бы жаль. Стереть-то. Так и живу, в архиве. Прихвати плащик-то.

– С осьминогом?

– Да оставь его. У меня целый аквариум в каминной.

---

[47] Курвиметр – прибор для измерения длин отрезков кривых и извилистых линий на топографических планах, картах и графических документах.

[48] Шнифт *(блат. жарг.)* – окно.

– А второй кто? – поинтересовался командируемый.

– Мутант какой-то. Помесь кабана и собаки. Не пробовал, боюсь отравиться, – отозвался Герцог, нагнулся, подобрал стволы и запихнул в рюкзак.

– Так зачем же вы такую тяжесть с собой волокли? – удивился Флёр, поднимая плащ, из рукавов которого вывалились еще какие-то разодранные тела.

– Для приманки, – пояснил Герцог. – Вдруг я не всех уложил. Они на кровь потянутся, увидят собратьев, пойдут по следу, а я их и подорву… Ибо хорошая *мина* при плохой игре – вещь незаменимая. – С этими словами он вытащил из кармана камзола пластиковый брикет, прицепил к стене и нажал на кнопку. – Инфракрасные лучики. Взлетят – только песня. Пригнись.

Но командируемый не расслышал, пошел за аристократом и случайно зацепил невидимый луч. Как ни странно, взрыва не прогремело.

– Ядрёны пассатижи, сломалась, что ли? – опешил Герцог, поднял булыжник, потащил Флёра в проем, из которого нарисовался в самом начале, прижался к камням и швырнул булыжник в сторону мины. Раздался взрыв, потолок просел, верхняя балка упала и завалилась внутрь проема. Раздался душераздирающий вопль.

– Хребет! Хребет! – орал Герцог. – Нет, подожди, нога, кажется…

Флёр попытался поднять балку, но ноша оказалась непосильной.

Аристократ выругался, приподнялся и тотчас опрокинулся наземь.

– Что делать?! Что мне делать?! – в панике заголосил командируемый.

– Нож… Рюкзак… Правый карман, – простонал Герцог. – Да в другом, другом кармане. В третьем ряду, пятый. Тьфу ты – ну ты, так всегда – карманов больше, чем денег. Сплошные у.е… Нашёл?

– Кажется, да.

Флёр приподнял тулово Герцога и вытащил из «безденежного» кармана рюкзака охотничий нож с зубьями.

– Режь, – мужественно скомандовал аристократ.

– Но как же, как же… – прошептал Флёр, покрываясь испариной.

– Режь, говорю, новую пришью, – повелительно произнес тот. – Только осторожней, кровью не забрызгайся.

Флёр зажмурился и всадил острый клинок Герцогу в ляжку. Принялся что есть силы пилить. Из ноги ударил голубой фонтан псевдодворянской крови. Аристократ прикусил нижнюю губу и за всё время не издал ни звука. Когда с ногой было покончено, командируемый помог Герцогу подняться, тот оперся на него, но поскольку тело и сила Флёра были достаточно призрачными, то он снова упал, подняв ком грязи и пыли. Цепляясь за выбоины в стене, Герцог всё-таки сумел выпрямиться, отдышался, подхватил кепку, очищая ее, похлопал об оставшуюся ногу с трикотажным пузырем на колене, нахлобучил по самые брови и, указуя глазами путь, прохрипел:

– Поскакали, в прямом смысле этого слова.

Скакал Герцог недолго. За углом показалась дверь, ведущая в каминную. Опершись обрывком правой руки о стену, он толкнул дверь левой, пропустил Флёра внутрь, вытащил из кармана вторую мину, прицепив ее на косяк, нажал кнопку, пригнулся и впрыгнул в каминную.

Без правой ноги и правой руки, с разбитым лицом, с нездоровыми кругами в подглазьях, в изодранном камзоле, с рюкзаком на спине, чуть живой, в комичной полусогнутой позе, наверняка со сломанными ребрами, дистрофично-высушенный, со скошенным вправо башмачком носа, хищно и в то же время трусовато выглядывающим из-под кожаной кепки, Герцог вызывал целый сонм взаимоисключающих чувств: от жалости до желания поддать пинка в зад, на котором мешком свисали остатки треников, измазанные белилами.

– У вас, наверное, шок? – предположил Флёр, аккуратно положив плащ на пол. – Врача позвать?

– Я сам себе врач, – отмахнулся Герцог, нащупав в темноте кресло. – Нам мастера по эвтаназии ни к чему… Да, я теперь уверен: если тебя и мина не берет, то ты точно не призрак. То есть призрак, конечно, но не маговский.

Он вмялся в глубокое кожаное кресло, разорвал камзол, быстро наложил на ногу жгут из бечевки от баскетки, затем меланхолично вытащил из кармашка рюкзака бензиновую зажигалку, пачку сигарет без фильтра – с надписью «Здоровье вредит вашему куренью» – в непромокаемом футляре-фанте, похожем на те, которыми приторговывал Амадей Папильот, растянул латексный чехольчик, выбил сигарету и, предварив процесс прикуривания неприятным скрежещущим щелчком зажигалки «Zippo», задымил.

– Палочку здоровья будешь? – спросил он Флёра.

– Н-нет, – со слезами на глазах откликнулся командируемый, искренне сочувствуя *отбросившему кроссовку* Герцогу.

– А я вот не могу. Стрессы. Убийства. Как тут не сорваться, – просипел аристократ сквозь дымовую завесу. – Да ты не переживай, живы будем – не помрем. Подай аптечку. Если сможешь, конечно. Больно сильный ты, – добавил он с гримасой на разбитых устах, призванной, вероятно, изображать ироничную улыбку. – Около камина стоит.

– Но тут темно. Я ничего не вижу, – сказал командируемый и тотчас наступил на длинную кочергу, которая безжалостно, как в седобородом анекдоте, хлопнула его по лбу.

– И кто тебя только создал, такого убогого – не только сильного, но и ловкого? – прокряхтел Герцог, в сердцах швырнув кепку на стол. – Топай сюда, я тебе зажигу дам. Пользоваться умеешь? Или в пожарников поиграем?

Флёр, потирая лоб, подошел к Герцогу.

– Канделябр около камина, – аристократ пыхнул зажигалкой и протянул ее Флёру. – Свечки зажжешь и вот эту крышечку закроешь. И без глупостей там. – Он с нехорошим предчувствием отдал зажигалку и стал ждать последствий.

Командируемый прошел к камину, потоптался в поисках канделябра, но вдруг увидел свечи и ликующе поднес к ним зажигалку. Раздался треск, полоснуло искрами, Флёр закашлялся, из глаз брызнули слезы, и он потерял сознание…

Первое, что он увидел, придя в себя, был какой-то страшный мастодонт с выпученными глазами, рифленым хоботом, без растительности на лице и потухшими свечами в руке.

Герцог снял противогаз и с присущей ему иронией проскрежетал:

– Шедеврально! Удивительная ты личность, Флёр. С тобой только в разведку ходить. Ты что, слезоточивые шашки от восковых свечей отличить не можешь? Я уж думал, гикнулся ты, даже «серебряная» нить как-то странно задребезжала. И меня вот с места поднял. А я, с позволения сказать, на культях – не ходок. Ты как? Глазки не щиплет?

– Чуть-чуть, – ответил командируемый, поднимаясь.

– Ничего-ничего, тяжело в учении – легко в гробу. Но предупреждаю: еще один такой финт выкинешь, я тебе по кумполу дам и в аквариум к осьминогам посажу, уяснил? – пообещал Герцог, швырнул шашки в сторону, взял флакончик с *антислезоточием*, капнул в глаза командируемого и пополз к камину. Опираясь на каминную решетку, поднялся, зажег свечи, затем кое-как нагнулся, подхватил саквояж с красным крестом и запрыгал-задвигал в сторону кресла.

– Вас перевязать? – предложил помощь Флёр.

– Ты перевяжешь, мне потом ампутировать всё придется, – плюхнувшись на сиденье, отозвался Герцог. – Правда, уже и ампутировать нечего. Ладно, спасибо, конечно, но я уж сам как-нибудь. Перекурю только.

Аристократ нагнулся, вытащил из-под кресла ветошку и швырнул командируемому. – Утрись. Забрызгался кровушкой-то, пока меня хирургировал… Хуже Эвтаназа, чес-слово.

После этих слов Герцог полез во внутренний карман камзола и вынул золотые часы «луковкой» на длинной цепочке. Открыл крышечку и присвистнул.

– Вот те раз! Даже странно, как это я еще жив! – воскликнул он и черным пальцем, в свое время прищемленным дверью, поманил Флёра к себе.

Командируемый подошел и от удивления открыл рот.

– Закрой варежку, пломбы выпадут.

– Первый раз такое вижу. Что это? – вытерев с лица голубые кровавые разводы, поинтересовался Флёр.

– Котлы «Кроликс». Маг по пьянке презентовал. Небось жалеет теперь.

– Странные часы, – заметил командируемый, вернув ветошку.

– Еще бы. Они же не время показывают.

– А что?

– Жизнь. – Герцог бросил ветошку под сиденье кресла, озабоченно уставился на циферблат и мрачно, немного непонятно, пошутил: – Эй, что есть жизнь? Ну, что-то есть… А как прошел твой день? Прошел…

Часы у него на самом деле были удивительными и, несмотря на свою форму, скорее напоминали термометр, поскольку стрелки у них отсутствовали. Деления на циферблате располагались не по кругу, а находились в запаянном ртутном столбике-шкале, разделенном на показывающие возраст деления. Всего их было сто. В качестве нагрузки к каждому делению прилагались кролики: где-то один, где-то несколько. Некоторые из кроликов, особенно на отрезке от трех до пяти, были востроухими и настолько резвыми и шустрыми, что от них рябило в глазах. Ближе к четырнадцати кролики всё еще пребывали в хаотичном движении, но, по сравнению с отрезком от трех до пяти, более медленном, хотя и не менее бессмысленном. Глаза у них светились тем незабываемым безумным светом, которым сверкают волшебные шары дискотечных иллюминаций. От четырнадцати до восемнадцати в прыжках и скачках появлялась некая осмысленность и даже рациональность, но было в них что-то максималистское, причем векторы подскоков менялись настолько часто, что, казалось, кролики танцуют *«non-stop»*. Сказывались остаточные явления пубертатного периода. К двадцати пяти вырисовывался один вектор, направленный обычно не туда, куда следует, движения становились более плавными, *«non-stop»* сменяли брачные вальсы, но тут почему-то начинался спад. К тридцати активность уже была какой-то пассивной, во взглядах явственно проглядывала скука, – длилась, правда, она недолго, сменяясь эйфорией и танго измен. Лампочки глаз то загорались ярким влюбленным светом, то затухали, погружаясь в меланхолию и депрессию. После тридцати на делениях зачастую не хватало места – откуда ни возьмись, появлялись смешливые крольчата, почему-то с чужими ушами, и с «антресолей» шкалы в несметных количествах наползали престарелые родственники. К сорока длительность скуки увеличивалась, эйфории, соответственно, уменьшалась. И несмотря на то, что в каждом скачке чувствовались значительность и «зрелость», по глазам кроликов с тусклой спиралькой можно было определить, что существенного удовлетворения они от этого не испытывают, тем более что место адюльтерных плясовых всё чаще и чаще стали занимать бракоразводные хоровые. С другой стороны, в этом были свои преимущества: расползались родственники, и «метража» на делениях значительно прибавлялось. Некоторым, однако, не везло, и им приходилось перескакивать к приятелям. За сороковым делением, ближе к пятидесяти, активность кроликов была очень странной: прыжок, скачок, пульсация, одышка. К шестидесяти – прыжок, одышка. После шестидесяти – сплошная одышка. На кроликов наваливалась ползучесть, изредка перемежаемая потугами на подпрыгивание. И если внизу шкалы находилось что-то чуть видное, розовое и эмбрионное, то на сотом делении полулежало одинокое, седое, вислоухое существо с грустными «перегорев-

шими» глазами. На данный момент ртутный столбик был почти полностью заполнен и замер на девяностом делении – из капустных листов проглядывали четыре тощих лапы и впалый живот. Судя по всему, Герцог температурил.

Положив часы на стол, аристократ швырнул окурок в камин и вытащил новую сигарету. После первой же затяжки столбик резко подскочил вверх – к грустным усам и волочащимся лапам.

– Никотин укорачивает жизнь, но продлевает ее иллюзию, – Герцог астматически закашлялся, и в его руке тотчас появился ингалятор «Astmopent». После двух впрыскиваний он задышал легче, ртутный столбик упал на несколько делений – к одной еще крепкой кроличьей лапе, однако Герцог лишь философски усмехнулся и поднес ко рту сигарету. Столбик пошел вверх, «серебряная» нить цвета киновари затрепыхалась – лапа дернулась. Флёр с грустью посмотрел на чуть живого аристократа, которому по шкале оставалось только одно деление.

– Не надо бы вам – задохнётесь, – попенял командируемый.

– А кому теперь легко? – изрек не менее замусоленную, чем он сам, фразу Герцог. – Ты не переживай. Такие, как я, живут долго…

– Но с вами всё в порядке?

– Бе-зу-сло-вно… Хуже не бывает… Ибо в каком-то смысле все мы кролики: прыгаем, жуем, а в конце – и прыгать нечем, и жевать. Только за другими наблюдаешь да удивляешься: что это они, дурни, такое вытворяют? Всё прыгают да жуют, прыгают да жуют…

– А это чего у вас такое? – Флёр с любопытством кивнул на ингалятор.

– Это? – Аристократ задумчиво повертел впрыскиватель. – Это, милейший, дуст от лёгочных тараканов. Правда, я иногда от него самого задыхаюсь: по привычке пользуюсь, когда не требуется. А это всё-таки дуст. Если он лёгочных тараканов не убивает, то на сами лёгкие перекидывается… Хорошо – не на печень.

И Герцог посмотрел поверх камина. Командируемый проследил за его взглядом и ахнул.

Над камином в массивном золоченом багете висел портрет Циррозии. Едва заметные кракелюры[49] покрывали холст. Мадам, закинув ногу на ногу и опершись холеной рукой в едва заметных симпатичных веснушках-цветочках на подлокотник, нежилась в овальном велюровом кресле. Жарким поцелуем на левом бедре алело сочное сердечко с «породистым» словом «DUKE». На щиколотке сияла цепочка. Медсестринский халатик декольтированно распахнулся на убедительной груди. Ресницы, казалось, подрагивали. Зазывали. Поигрывали. Красивый резкий росчерк бровей смущал. Тело манило, томилось, алкало… Толкало. На безрассудства, глупости, подвиги. На перекусывание цепочки со щиколотки. Рыжие волосы, рыжие ноготочки, «рыжий» беспокойный взгляд. Любострастная. Трепещущая. Бесстыжая. Упругая и эластичная, беспрецедентная и экстазирующая. Не с изюминкой, но с целым фунтом кураги. Не женщина. Вымпел. Знамя. Стяг. Хотелось взметнуть его над головой и нести, нести… Любуясь, куражась и млея.

– Циррозия. Чувствиночка моя, – сентиментально проворковал аристократ, обратившись к Флёру. – Хороша, да? Молчи, молчи. Слово барышню не объяснит. Слово барышню портит. Как прекрасную картину в дешевой раме. – Командируемый, ничего не ответив, стыдливо потупил взор. В руке у «барышни» была мензурка. И вряд ли с аперитивом. – Циррозия! Что в имени твоем? Что в сути? В чреслах что? – не то с иронией, не то с чувственным надрывом фонтанировал Герцог, вдохновенно откинув голову и любуясь портретом. – Ланиты! Длани! Перси!.. – Опомнившись, бросил Флёру: – Ты гуляй, гуляй пока. Чувствуй себя как дома…

Командируемый обреченно вздохнул, но повиновался и сделал шаг в сторону. Зачем-то обернулся и вдруг застыл. Портрет ассистентки оказался с «подмигиванием». Стоило взглянуть на него с того места, где только что стоял Флёр, – и Циррозия оказывалась в велюровом

[49] Кракелюр (*франц.* craquelure) – трещина красочного слоя в произведениях живописи.

кресле при декольте. Но отойди на несколько шагов – и глазам представлялся совсем другой холст, с множащейся перспективой. За спиной молодой и весьма раскрепощенной ассистентки Эвтаназа оказывалась другая дама, чем-то неуловимым напоминающая Циррозию, но намного старше. С перманентом на голове, в шикарном махровом халате с перламутровыми пуговицами и в тапочках с опушкой. Портрет в полный рост. Всё та же стать и пышная грудь. Милая коленка, выглядывающая меж халатного роскошества. Макияж, маникюр и угадывание педикюра в тапках. Дутые золотые цепочки, браслеты и кольца. Но в лице отчего-то – усталость и тоска. Чуть поодаль – суетящийся около пафосного гостиного гарнитура о двенадцати ореховых стульях кто-то из персонала архива со смазанными чертами, – не то опекун, не то грузчик, не то преемник Эвтаназа. От картины «дыхнуло». Командируемый сделал шаг назад – и дама вдруг резко постарела. Халат стал мужским и обтёрханным, а тапки – стоптанными. На ковре появились шалуны разных мастей и возрастов с погремушками, в милой шкодливости которых отчего-то чуялись будущие мерзавцы. «Мерзкие, гадкие визгуны, – читалось в утомленных глазах Циррозии. – Нетопырёчки». Около гарнитура копошились чужие лица из разных отделов – с никелированными целями, но даже без глиняной мечты. Они переставляли мебель и вносили дорогостоящую технику. Переставив, «рокировались» сами, уступая место более шустрым и нахрапистым служащим с многочисленными коробками, в которых лежали: пылесос «Thomas Twin Aquafilter», домашний кинотеатр «Fujitsu» с плазменной панелью, DVD-плейер «Toshiba», пишущий CD-проигрыватель «Philips» с чейнджерами для дисков, музыкальный центр «JVC», цифровые фотоаппарат «Sony» и видеокамера «Panasonic», сотовый «Ericsson» с цветным дисплеем, анимированными картинками и полифоническим многоголосьем, и прочая, прочая, прочая… «Grundig», «Samsung» и «Nokia». Hi-Fi & Hi-End и Dolby Surround. «Навороты», «примочки» и «мульки». Из-за коробок выглядывали испуганные огнистые глазища Циррозии с расширенными от удушья зрачками. Она пыталась выбраться, но, словно в болоте, каждое резкое движение лишь усугубляло ее положение, засасывая в стоячую дурно пахнущую воду быта и гиблый торфяник житейщины. Рулоны с ламинатом и ковролином. Ящики с плиткой и эмалированной краской. Раковины и унитазы. Декодеры, декодеры, декодеры… Не было только *гибрида телевизора с пишущей машинкой, коврика для «мыши», принтера и сканера*, о которых командируемый не знал, да и не мог знать…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.